Сад несовершенств

Сборник рассказов

Сад несовершенств

Стояла задумчивая лунная ночь. Пять человек задумчиво стояли на глухой деревенской дороге. В какой-то неуловимый для глазу момент один из них отделился от основной группы и зашагал прочь. Казалось, его ничто не могло остановить; в то же время казалось, что он растерян и не ведает пути своего. Между тем, путь его лежал в стороне от покосившихся убогих избушек этого истерзанного войной края. С другой стороны, путь его лежал в стороне от позднебарочных особняков этой благословенной земли.

В какой-то неуловимый для глазу момент Дымов — так его звали — зашагал по глухой деревенской стерне. Луна сияла на октябрьском задумчивом небе. Ветер, заметно усилившийся в последнее время, заметно крепчал, и Алексей — как он любил себя называть — злобно кутался в подержанный, давно вышедший из моды плащ. Он шёл к своему другу детства Елевичу, с которым его многое связывало. Это часто было причиной смеха и зависти соседских мальчишек: их ядовитые насмешки отравили безоблачное детство Дымова, а рыбьи головы, которые они подкладывали Дымову в портфель, и по сей день вызывали у него холодный ужас. Тем не менее, направляясь к Елевичу, он знал, что тот — свой человек и может быть ему полезен, хотя не мог сказать определённо чем. Однако ж, Дымову до окаянства необходимо было знать, чем именно будет полезен ему Елевич, потому-то он и шёл к нему, преодолевая наплывы страха и похоти.

Вокруг сновали мелкие полунощные зверьки; чуя дыханье зимы, вдалеке взвыл ночной коростель. Ветер, заметно ослабевший в последнее время, дул как бы исподтишка, норовя забраться в прорехи одежды. Дымова согревала мысль о скором ночлеге, о самоваре и баранках, которыми был славен дом Елевича. Охлаждала же Дымова мысль о том, что Елевич, конечно же, оповестит своих о случившемся, а это не только запятнает честь полкового знамени, но и убьёт всякую надежду на спокойную старость. Четверо человек, оставшихся на глухой деревенской дороге, умели ждать, но и их терпение было не безграничным. «Надо же было так опростоволоситься

ещё в 93-м», — ожесточённо думал Дымов, втайне надеясь, что он ещё может быть им полезен.

Гнилая стерня глухо чавкала под его армейскими ботинками. В воздухе было ожидание чего-то очень близкого. Ветер, заметно усилившийся в последнее время, гнал по небу серые рваные тучи, то и дело гася луну. Дымова охватило отчаяние; он был на грани самоубийства, и только вновь нахлынувшие детские воспоминания отвратили его от непоправимого решения. В задумчивом лунном свете, один посреди заброшенного стылого поля, он представлял из себя довольно жалкое зрелище, сознавая это. Оставалось совершенно необъяснимым, почему на всём своём долгом пути он не встретил ни одного служителя культа — он был готов даже к этому.

Была уже половина второго ночи, когда Дымов заметил знакомые очертания мазанки Елевича. Он прошёл вдоль покосившегося убогого тына, где на кольях торчали вверх дном старые крынки, тщетно вглядывался в закрытые расписными ставнями окна, вошёл, наконец, в калитку и, не обращая внимания на четырёх немецких овчарок, в ужасе жавшихся друг к другу, постучал в дверь. Дверь отворил слепой мальчик лет четырнадцати и знаками пригласил Дымова в хату. Дымов понял, что мальчик немой.

В комнате на столе стоял самовар, не без таланта украшенный гирляндами баранок, которыми славился дом Елевича. Через мгновенье появился и сам хозяин, одетый во что-то общечеловеческое.

Друзья обнялись и сели пить чай.

Тихо и сумрачно было в комнате, слабо освещённой керосиновой лампою. Гипертонические часы отбивали непостижимый ритм. Всё время, пока длился дружеский разговор, слепой мальчик задумчиво стоял у стены, держа в руках перевёрнутую новую крынку. В воздухе чувствовалась близость чего-то давно ожидаемого.

Всё время, пока продолжалась непринужденная беседа, Дымов подозревал, что Елевич почему-то хитрит, пытаясь выдать себя за человека, ни о чём не догадывающегося. Но Дымов догадывался, что Елевичу известно всё, более того, что он сам причастен к событиям, взволновавшим не одно человеческое сердце в последнее время. «Почему хитрит Елевич? — сознательно размышлял он. — Или от него уже нет никакой пользы?» Тем временем мальчик унёс куда-то старую крынку (Дымов слышал, как хлопнула входная дверь и от страха заскулили на три голоса овчарки) и, вернувшись с совершенно новой в руках, опять стал у стены. Становилось ясно, что наступил какой-то неуловимый для глазу момент истины. «Ты вовремя ослеп, парнишка», — тоскливо думал Дымов.

Тем временем друзья выпили чай и вновь обнялись, как в былые дни.

— Пойдёмте в сад! — вдруг предложил Елевич, изуверски остря.

Вдвоём они вышли из хаты в сад; сзади плёлся глухой мальчик с подержанной крынкой, поочерёдно прихрамывая то на левую, то на правую ногу.

Подозрительное спокойствие царило в саду: ничего не хрустело под ногами, как мёрзлые рыбьи головы, никто не пролетал беззвучно между деревьями, чуя дыханье зимы. Многолетняя практика заставляла Дымова постоянно оглядываться, но и это ни к чему не вело.

— Вам это ничего не даст, Дымов, — обречённо сказал Елевич, подтверждая смутную догадку приятеля.

Только однажды среди высоких кустов можжевельника Дымову померещился гальванизированный труп единорога, но оказалось, что это всего лишь самопроизвольное свечение воздуха. Пройдя ещё несколько времени, Дымов остановился как вкопанный и стал глядеть в одну точку, где, по его мнению, ничего не было.

— Позвольте, — произнёс он, очнувшись, — разве здесь ничего раньше не было?

— Вроде качелей? — в недоумении предположил Елевич.

— Да, да, качелей. Я отчётливо помню, что в прошлый раз на этом месте стояли качели. Где они? Такие ржавые, с облупившейся краской, да вы сами должны знать.

— Вы что-то путаете, друг мой. Может, вы имеете в виду чёртово колесо — так имейте в виду, что его здесь никогда не было.

— Но как же…

— Я думаю, это просто влияние места. Деревья, знаете ли… Я давно полюбил эти деревья. Вы заметили, я стал немногословен. О бедности моего словаря ходят легенды. Печально, что вы не в силах предложить своей реконструкции. Это всё, как видите, влияние места. У вас, вот, дежа вю, а у меня метрах в десяти отсюда убило жену и сынишку, — Елевич обнял за плечи немого.

— Однако он жив…

— О, прошу вас, вы его смущаете, — рассмеялся Елевич.

«Всё же, он сказал: убило, — размышлял Дымов, когда все трое двинулись дальше. — Руку даю на отсечение, что убило качелями».

— Вот представьте себе, — сказал на ходу Елевич, мучительно обдумывая каждое слово, — представьте, что некий человек живёт где-то, ну, рядом с вами, допустим, живёт так, словно делает вам лично одолжение. А вам это вовсе не нужно, это, может быть, вас оскорбляет в самых, если можно так выразиться, лучших чувствах… Ну, если не оскорбляет, тогда это просто неприятно, как-то, что

ли, по-свински выходит. Я говорю, если бы был бы такой человек, то вы бы непременно постарались бы от него бы избавиться, то есть, это естественно, как у людей, знаете ли. Ну, потом, конечно, раскаянье, муки совести, то, другое, но дело-то, заметьте, уже сделано, ну и чёрт с ним, и всё рассосалось. А если, как фантастика, если таких вот людей не один, а — миллионы, миллионы, если все! Понимаете, если все живут только ради вас одного, искренно полагая, что это счастье для вас, а им в ущерб, а вы как бы вечно в долгах, которые отдать невозможно, да и зачем? Что бы вы тогда сделали, напившись?

Разумеется, Дымов знал, как ответить: на учениях он уже не раз прорабатывал предложенную ситуацию, — но в какой-то неуловимый для глазу момент он перестал воспринимать вопросительные конструкции и, отдавая в том себе отчёт, размышлял, как бы узнать точное время, ибо вопрос *который час?* становился для него недоступным.

По его молчанию Елевич понял, что с ним произошло, и, впервые в жизни ощутив собственную бесполезность, отправился со слепым пить чай.

В саду было тихо и сумрачно. Предчувствуя скорую зиму, белёсые шары неслышно парили в кронах деревьев, белки, ещё весной убитые на своих ветках, падали на землю в поисках съедобных припасов, вдалеке с тихим шёпотом произрастал можжевельник. Дымов сел, прислонившись к озябшей яблоне, и пытался вообразить себе вопрос *почему*, но легко утомился и закрыл глаза. Его кровь начинала третий, неведомый прежде круг, и не скоро вернётся в сердце.

Последний герой

Доктор прокашлялся.

— Почему вы спрашиваете, когда вы умрёте? Вам интересна дата?

Кракатаев разжал, наконец, костлявые пальцы, отпустив скомканный край докторского халата. Вопрос был вполне закономерен, тем более что доктор давно уже сужал круг его интересов, пытаясь выделить главный. Однако если и был интерес к дате, то его второстепенность была очевидна любому. «Нет», — прошуршал ртом Кракатаев. Он вдруг захотел пить, но тотчас же, с наработанным страхом, одёрнул себя, вспомнив, что даже на вид вода не отличается стерильностью. Это было только мгновение слабости, но доктор хладнокровно поймал его на этом. «Всё как тогда», — подумал Кракатаев о своём.

— Вот вы думаете, что вас окружают враги, — сказал доктор. — А на самом деле вас окружает только неумение извлекать уроки из собственных ошибок.

Образ Леденца пронёсся в мыслях Кракатаева. Он попытался возразить, но доктор с внутренним тактом перебил его:

— Только не надо шуршать, мы же не дети. Вы знаете, что завтра вам будет гораздо хуже. Оно и понятно: время-то летит. Так зачем устраивать панику, выяснять даты, сличать рентгенограммы пятен? Вы что, не представляете, какой элемент хаоса это вносит?

Кракатаев имел ряд представлений об этом, но это дорого обходилось ему. Конечно, как участник первой и второй обороны Белого дома, прозванный кем-то по этому случаю «альфой и омегой российской демократии», он мог усмотреть в действиях доктора трагический возврат к прошлому, хотя и не делал этого. Напротив того, на мгновенье сосредоточившись, он сделал доктору условный знак глазами, обозначавший, что он осознал, и просит не вменять, и впредь будет следовать.

— Ну и умница! — восхищённо улыбнулся доктор. — Герман Евгеньевич всё говорит: мерзавец да мерзавец, — а я вот сейчас пойду и скажу, какой вы умница. Работайте, работайте и увидите, как мы дойдём с вами до абсолютной стерильности.

Всё ещё восхищаясь, доктор проворно выскочил из палаты, и вскоре из коридора донёсся его нечеловеческий вопль. Кракатаев привычно вздохнул: он уже слышал эту историю от Славочки. Когда-то в ранней молодости тунгусский шаман встретил доктора, бредущего в толпе паломников по сибирскому тракту. Шаман был так оскорблён самим фактом встречи с доктором, что в отместку отделил докторский вопль от его хозяина и приказал неотступно преследовать его, чтобы, когда наступят последние времена, слиться с доктором воедино. Надо сказать, вопль делал успехи: с каждым днём он всё ближе и ближе подбирался к доктору, несмотря на завидное проворство последнего.

«Кажется, я читал что-то такое у Тургенева, — подумал зря Кракатаев. — Но там, вроде бы, всё обошлось».

Вошла пышногрудая Славочка, на которой, кроме халата и очков, странно напоминающих два кинескопа, по обыкновению ничего не было. «Так всем легче», — застенчиво улыбнулась Славочка Кракатаеву в первый день, когда он только очнулся от превентивного наркоза. «А очки?» — спросил тогда Кракатаев. «А, это! — весело отмахнулась Славочка. — Это, то есть, потому, что, как бы, я всё только, это, в поляризованном свете вижу. Секёте?» — «Пытаюсь, — успел сказать Кракатаев, проваливаясь. — В парализованном свете…»

— Ну как вы? — спросила Славочка, застенчиво улыбаясь. — Скоро?

Кракатаев пожал здоровым плечом:

— Не знаю. Доктор не говорит. Да и не в этом суть.

— Да, — выдохнула Славочка. — Надо глубже. Но ничего, не беспокойтесь. Всё обойдётся.

Умиротворённый тон Славочки, как это всегда за ним водилось, не гарантировал в будущем ничего, кроме бед и страданий. Тем не менее, Кракатаев неожиданно для себя взбодрился и даже улыбнулся той половиной лица, которая больше обещала, чем могла. Он вспомнил, как в детстве, где-то в окрестностях Тарусы, он ловил бабочек, складывал их в полиэтиленовые пакеты, а по весне отпускал их на волю где-то в районе Торжка. Они всегда возвращались в родные места, и тогда жители Тарусы с удивлением узнавали своих любимцев, чей след, казалось, навсегда был утерян.

Славочка аккуратно ввела ему мутноватый холодный раствор, облегчающий всё. Когда Кракатаеву стало легче, он взглянул на Славочку и осторожно, чтобы невзначай не потерять дар речи, спросил её:

— Почему вы никогда не предлагали мне своей дружбы? Неужто вы думаете, что я оскорблю её, как тогда?

— Нет, — застенчиво улыбнувшись, ответила Славочка. — Просто не было случая. Вы здесь, а я там. Там знаете как классно! Там есть двенадцать месяцев, и каждый дарит мне фиалку. Там огромная рыба, она длиной во всю землю. Она превращается на ходу в птицу, а эта птица — шириной во всю землю. Земля там тоже есть, не то что здесь. А ещё есть прикольный поезд, который никогда никуда не врезается, даже если надо, и седьмое лето с бегущей строкой, и инфракрасный день календаря, и саблезубая родина, а все глядят так зачарованно, и какой-то ботвинник, не знаю. И всё это движется в верном русле, понимаете?

— Посмотрим, — сокрушённо сказал Кракатаев, отчаявшись наверстать упущенное.

— Там главное — не совершить ошибку, — добавила Славочка, и образ Леденца пронёсся в мыслях Кракатаева.

Между тем наступила осень. С печальным курлыканьем на юг потянулись журавлиные клинья. Кракатаев любил это время года: оно напоминало ему об ушедшем. Он не находил ничего предосудительного в том, чтобы, проснувшись тусклым осенним утром, обнаружить у себя такой мощный и организованный упадок сил, какой бывает только в раннем детстве, в предчувствии тяжёлой и подчас неизлечимой болезни. «Вот ведь, — с грустью размышлял он, — доктор говорит, что меня всегда влекло всё несбыточное. Только бы знать куда».

Днём заглянул Герман Евгеньевич, инструктор по отождествлению.

— Ну что, не спишь, мерзавец? — закричал он, выпрастывая своё толстое, как бы дутое тело из коридора.

— Бог его знает, — со вздохом ответил Кракатаев.

— Бога нет, — нахмурился Герман Евгеньевич и чрезвычайным усилием воли погрузил Кракатаева в транс.

Это был очередной из серии сеансов внутреннего сафари, которое позволяло достичь абсолютной стерильности, минуя негуманное хирургическое вмешательство.

— Что ты видишь? Что ты видишь? — спрашивал инструктор, наклонившись к самому лицу Кракатаева.

— Ничего… Вот, сейчас… Круги пошли… Их много, их мильон… — шептал Кракатаев из-под транса.

— Дальше! Что ты видишь? — не унимался Герман Евгеньевич.

— Я… вижу человека… Он сидит под лестницей… Он чинит велосипед…

— Велосипед?

— Да… Много велосипедов… Он их чинит…

— Он — это ты! — ликуя, провозгласил Герман Евгеньевич. — Убей его!

— Сейчас, — пробормотал Кракатаев и после мучительной внутренней борьбы выдохнул: — Готово…

— Дальше! — свирепел Герман Евгеньевич. — Что ты видишь?

— Я вижу девочку… Она надувает воздушный шар…

— *Один* воздушный шар?

— Да, один, но он лопнет…

— *Точно* лопнет?

— Я уверен в этом…

— Убей её как можно быстрее! Это же ты!

— Уже…

— Что там ещё? Осталось что-то? — явно подустав, интересовался Герман Евгеньевич.

— Я вижу бабочку… Она тут летает кругом… Она — это я?..

Герман Евгеньевич задумался.

— Да нет, — сказал он, поразмыслив. — Нет. Какая ты к чёрту бабочка. Возвращайся.

И пользуясь слабостью Кракатаева, который постепенно приходил в сознание, инструктор тихо, как вор, улизнул из палаты, мысленно

насвистывая что-то из Шопена.

Сеанс внутреннего сафари благополучно завершился.

Кракатаев остался совершенно один. Как и многое другое в суете будней, он, конечно же, любил эти минуты уединения и тишины, ведь они о стольком ему напоминали. Но именно сейчас, в эти, казалось бы, счастливые мгновенья он с необыкновенной ясностью ощутил, что никогда, ни раньше, ни даже теперь, он на самом деле не был одинок и невидим, что всё это фикция, игра воображения, а за этими белыми стенами, за продуманным до пустоты дизайном палаты стоят какие-то глубоко заинтересованные лица, или ангелы, или скоты, и наблюдают, и, скорее всего, делают свои фантастические выводы. Когда мерзкая безвыходность этой картины стала очевидной, когда очевидным стало то, что кроме неё в мире нет ничего достоверного, Кракатаев понял, что в его судьбе происходит невероятная перемена: вне всяких сомнений, он станет подвижником.

Дальнейшее интересует нас лишь постольку, поскольку это невозможно обойти вниманием. Нет нужды перечислять все те подвиги, которые совершил Кракатаев после своего триумфального выхода из больницы. Им, как говорится, несть числа. Заслуги героя были по достоинству оценены современниками, и, пожалуй, не было такого дома и семьи, где бы его имя не произносилось с неизменным почтением и лаской. Но даже в старости, находясь на вершине своей славы, Кракатаев так и не мог понять, почему он тогда, в тот знаменательный день, оставил в живых девочку с воздушным шаром. Разве у неё были какие-то шансы? Разве шар не должен был лопнуть в любом случае? Ей все равно не удалось бы надуть его до конца, так зачем было ждать неизбежного?

Славочка аккуратно сделала укол и прислушалась к его дыханию. Он с трудом шевельнул языком:

— Скоро. Я выяснил дату. Это надёжно.

— Слава-те, господи! — всплеснула руками Славочка. — Я так, это, рада за вас!

Выждав немного времени, она добавила с застенчивой улыбкой:

— Кстати, давно хотела предложить вам, ну, свою дружбу.

— А как же там? — сказал он. — Ну, вы говорили, что я здесь, а вы там.

— Да ну! — махнула рукой Славочка. — Там ничего нет. Я ошиблась.

Образ Леденца мелькнул в его мыслях. Он ласково провёл ладонью по её седеющей голове и, широко улыбнувшись, сказал:

— Мы все ошиблись. С этого надо было начинать.

Пикник

История распорядилась таким образом, что нам пришлось разбить лагерь в этом лесу, прямо на берегу вон той речки. Должен сразу оговориться, чтобы ни у кого не возникло желания возвращаться к этому вопросу вторично: становилось уже темно — здесь рано темнеет — и мы не могли продвигаться дальше согласно утверждённому плану. Может быть, в свете всего произошедшего, решение разбить лагерь, тем более здесь, в условиях, близких к чрезвычайным, кажется абсурдным и, так сказать, преступным; может быть, если бы была возможность прожить жизнь дважды, мы бы одумались и, по слову поэта, пошли бы иным путём; но здесь я всё же подчеркну вынужденность этого решения в нашей, прямо скажем, безвыходной ситуации. Мы все полностью отдавали себе отчёт в двусмысленности нашего необдуманного шага, но, следуя привычке смотреть опасности в лицо, так и поступили. Полагаю даже, что такая самоотверженность делает нам честь, если не больше того.

Итак, мы разбили лагерь в десяти шагах отсюда, потратив на это уйму времени и сил, так как приходилось то и дело осматривать подозрительную местность. Мы постоянно ощущали скрытую угрозу, таящуюся повсюду, но, откровенно говоря, боялись признаться в этом друг другу. Что-то неизбежно фатальное чувствовалось в каждом нашем движении, не говоря — помысле. Чтобы хоть как-то разрядить напряжённую атмосферу в группе, я принялся было рассказывать анекдоты о Штирлице и поручике Ржевском, но натолкнулся на глухую стену непонимания и, отчасти, презрения. Вы легко можете себе представить, каков был уровень потенциальной опасности, если даже такие опытные и тренированные люди, как мы, поддались на первых порах панике, предпочтя серьёзному и вдумчивому подходу к делу сомнительный эскапизм. И всё-таки в скором времени наше психологическое состояние стабилизировалось, хотя обстановка отнюдь не способствовала этому. Осмотр местности, который мы произвели сразу после того, как установили палатки и выставили дозор, подтвердил наши худшие подозрения. Как вы можете видеть, река в этом месте делает резкий поворот, тем самым возможности наблюдателя значительно снижаются, особенно в ночное время, а это, в свою очередь, могло быть выгодно кому угодно, только не нам. Обратите также внимание на то, что лес, отовсюду обступающий место, где мы разместили лагерь, обладает столь густым подлеском, что видимость в нём практически приближается к нулю. В таких

условиях оставлять его в тылу — не просто досадная небрежность, а прямой вызов, можно сказать, плевок в лицо неотвратимой опасности.

После ориентировки мы, недолго думая, развели небольшой костёр, стараясь при этом, чтобы он находился под прикрытием палаток и не был заметен ни с реки, ни с наиболее подозрительного участка близлежащего леса. Разумеется, это была ошибка. Блики от огня и шипение дров могли быть замечены издалека; они выдавали наше местонахождение с такой замечательной лёгкостью, что сводили на нет все наши усилия по безопасности. Что уж говорить: когда костёр был разведён, все погрузились в необычайное уныние, так как понимали, что теперь мы уязвимы, как никто, но отступать было не в наших правилах, да и поздно, да и некуда.

Не помню, с какого именно момента Коля начал вести себя неадекватно; возможно, это произошло во время первого приступа голода, который мы ощутили, сидя в тягостном, но до тех пор спасительном молчании у костра. Поднявшись, он медленно вытянул из рюкзака удочку и, низко опустив голову, произнёс: «Пойду наловлю рыбы». Ира спохватилась первой, вскочила и порывисто обняла его за шею со словами: «Не ходи! Ты себя погубишь и нас выдашь! Коленька, не надо никуда ходить, уж лучше так…»

— Действительно, — произнёс, очнувшись, Сергей Иваныч, — геройство тут ни к чему, Николай.

Тем не менее, Коля ушёл.

Не знаю, как остальные, но я тотчас почувствовал себя осиротевшим и, чтобы развеять грусть, обратился к уже проверенному методу. Однако и на этот раз смешной анекдот о Штирлице встретил недоброжелательное отношение слушателей. Помнится, засмеялась только Маша, но это был горький смех.

Наступила уже совсем глухая ночь. Мы сидели неподвижно, как двенадцать месяцев, хотя без Коли нас оставалось всего одиннадцать.

— А где Апрель? — недоумевая, спросил Вадик. Сказать по правде, до этой вылазки меня радовала способность Вадика к идиотским шуткам, но в тот момент мне захотелось, чтобы на месте Коли был именно он. Судя по агрессивному молчанию моих спутников, они мечтали о том же.

Через четверть часа сгустившуюся тишину нарушил шёпот Карины:

— Если волки, это ничего. Хуже, когда приходят леопарды. Взрослый самец леопарда не оставляет человеку ни одного шанса. Ареал обитания леопарда чрезвычайно широк. Это делает его практически неуязвимым. Взрослый самец леопарда не поддаётся дрессировке. Он

отрывает дрессировщику голову. Детёныш леопарда способен на всё. В период спаривания леопард выглядит особенно устрашающе. Ему кажется, что он бессмертен. Даже мысль о леопарде убивает всё живое в радиусе до полутора миль.

Если это и был бред, как сказал, очнувшись, Сергей Иваныч, то меньше всего мне приходило в голову упрекать в этом Карину. Ведь с каждой минутой наше положение становилось всё отчаянней и невыносимей, и даже я с какого-то момента перестал возлагать надежду на будущее, наблюдая, как последние искры жизни и разума уходят из глаз моих несчастных товарищей.

Вскоре, однако, нас ожидало радостное известие: дозорные сообщили, что с рыбалки вернулся Коля. Он принёс рыбы. Мы вышли навстречу этому мужественному человеку и, увидев его, пришли в крайнее смятение: волосы дыбились на его голове и были от корней до кончиков седыми, бледные губы дрожали, казалось, что он только что рыдал о чём-то безвозвратно утерянном. Я был потрясён; я боялся представить себе весь тот ужас, который пришлось пережить Коле, чтобы выудить эту рыбу и вернуться назад с нею же. Но оставимте, господа, лирику.

Рыбу необходимо было разделать, но прежде тщательно осмотреть. По состоянию радужной оболочки глаз и характеру слизистых выделений на чешуе рыбы я понял, что мутировавшие экземпляры едва ли годятся в пищу, и сказал об этом остальным, но, к сожалению, не был услышан. В очередной раз мне пришлось убедиться в том, что перед лицом неизбежной смерти человек теряет человеческий облик и этим, подчас, только приближает и без того очевидную кончину.

В дальнейшем события развивались стремительно. Маша, скрепя сердце, решилась очистить рыбу от чешуи и взяла нож (я сам видел, как он дрожал в её руке), но страх оказался сильней её, и она попыталась вскрыть себе вены. Гера и Настя вовремя остановили её. Вновь очнувшийся Сергей Иваныч стал требовать от Лёнечки возврата старых долгов, выдвигая при этом такие условия по процентам, выполнить которые Лёнечка не смог бы и в лучшие свои годы; и если бы не случайно рассказанный мною анекдот о поручике Ржевском, то бог знает до чего у них могло бы дойти дело. Тем временем Вадик раздобыл где-то бутылочку «Спрайта» и стал пить его затяжными глотками. На вопрос Иры, почему он пьёт в одиночку, Вадик ответил, что он всегда поступает так, когда нет возможности поступить благородно. В этот тяжёлый момент меня почему-то опять порадовала уже упоминавшаяся мною способность Вадика. Думается, что это порадовало и Иру, раз уж она, как-то чудно́ улыбнувшись, пожелала всем спокойной ночи и ушла спать в палатку, не дожидаясь ужина. Машу, конечно, пришлось связать. В этом участвовали все, за

исключением Карины и Коли, которые, как я заметил, сидели друг против друга в каком-то кататоническом расслаблении и были уже чуть не на пороге нирваны, когда в непосредственной близости от нашего лагеря резко и тревожно прокричала ночная птица.

Нельзя сказать, чтобы это заставило нас протрезветь и успокоиться. Скорее уж наоборот: если до этого времени кое-кто ещё пытался преодолеть свой страх, развлекая себя анекдотами и вознёй с рыбой, то теперь близость и осязаемость ужаса овладела нами настолько, что мы разом замолчали и остановились, не обратив даже внимания на обморок Насти — явление редкое, а потому всегда прежде отлагавшееся в памяти. Скажу откровенно: хотя я и до этого уже неоднократно предсказывал подобный конец нашим затеям, и почти всегда оказывался прав, в этот раз мне стало как-то особенно не по себе: ещё нет и одиннадцати, думал я, а пятеро наших — Коля, Маша, Ира, Настя и Карина — уже выбыли из строя. Мне подумалось, что было что-то нечеловеческое, что-то чудовищное в той логике, которая привела нас сюда и поставила перед лицом жесточайшей реальности, не дав даже позорного выбора. Иносказательно я поделился своими соображениями с Герой, но тот, кажется, вовсе не расслышал меня, хотя с третьего класса обладал абсолютным слухом, даже бравировал этим. И вдруг в этой тишине, в этом леденящем ступоре я услышал чей-то голос — унылый, мелодичный. Я повернулся на звук и, присмотревшись, оцепенел от неожиданности. Это пела Маша. Вряд ли это было пение — растянутые слоги, какой-то отстранённый, всеобщий какой-то голос, чёрт знает что такое. Маша пела, шевеля в такт связанными руками и ногами, запрокинув голову очень высоко, что, к моему удивлению, совсем не мешало ей петь. Вот эта песня, я запомнил её от начала до конца:

В былое время, в стороне былой
Была я тоже девушкой простой,
Курила опиум, полола лебеду
Своею собственной рукой в своём саду.

И унеслось!.. Суровая зима,
И, как гробы, оставлены дома.
Рукой увядшей я касаюсь ваших рук,
Уже не ваших, мой несчастный друг.

Усни, усни, уснувшая мечта!
Уж я не то, а ты уже не та.
А этот глинозём, подзол и прах
Я не покину даже в небесах.

Выждав минуту, мы без единого лишнего слова поблагодарили Машу за песню, хотя, как я уже догадываюсь, сделали это скорее по инерции, в память о прежних машиных заслугах. По крайней мере, взглянув на

Лёнечку, я понял, что чувство, которое он испытывал в тот момент, — совсем не благодарность, нет. Вы не поверите, господа, но это была тоска. Эта была тоска по экстатическому слиянию. С кем? Значения не имело, с любой вещью: с лесом, с потрескиваньем дров, с плеском воды, с бутылкой «Спрайта», с Машей, наконец.

Очень хотелось выпить, да, признаться, и сейчас очень хочется.

— А это правда, что у Пушкина было две жены, белая и чёрная? — внезапно спросила Настя, едва отойдя от обморока. — И когда он спал с белой, то чёрная носилась над городом и с яростью заглядывала в глаза прохожим, а когда он спал с чёрной, то белая запиралась где-нибудь в чулане и плакала, и птица прилетала и била её по щекам?

— Нет, это невыносимо! — закричала Ира, высовываясь из палатки. — Я ей сейчас руки оторву. Я спущу ей кровь, и мне только спасибо скажут. Это же надо, какая цаца: Пушкиным в глаза тычет. Я сейчас тебе такого Пушкина устрою, что ты забудешь, какая у тебя нога правая, какая левая!

Неизвестно, что побудило Иру прервать отдых такой вот гневной репликой: то ли старинная легенда о Пушкине показалась ей совершенным малодушием, то ли сказалась давняя личная неприязнь к Насте, которую Ира считала просто ненужным 48-килограммовым довеском к нашей группе, что, разумеется, не так. Во всяком случае, здесь не обошлось без влияния той страшной обстановки, в которой мы провели уже несколько часов и готовились провести весь остаток положенного нам срока. С этим, пожалуй, согласились бы все, даже Сергей Иваныч, который, видимо, услышав крик Иры, как-то неуклюже и не ко времени очнулся.

— Господа, — сказал он своим особым, ночным голосом, — может, мы, наконец, прекратим эту собачью склоку? Не хватало ещё, чтобы мы перегрызли друг другу глотки. На это занятие найдутся претенденты и почище нас. Но это так, введение. А сказать я хотел вот что: я, честно говоря, не поклонник сентиментальности. Это известно всем. Я редко пла́чу, и мои слёзы недёшево стоят. Не думаю, что будет интересно знать, чему именно я это приписываю: особенности ли национального характера (всем также известно было, что Сергей Иваныч относил себя к древнему племени тохаров, что в контексте того, что его ожидало, не суть столь важно), или системе образования, или… Ну, да к чёрту! Я хочу сказать, что, волею судеб, мы оказались в ситуации, которая… Нет, мы стали заложниками ситуации, которую… Словом, которая настолько противоречит всему нашему опыту и вместе с тем так близка к катарсису, что, мне кажется, я сейчас зареву белугой.

— И это были волшебные, лёгкие, очистительные слёзы, — вполголоса зачем-то произнёс Гера, глядя в сторону, словно обращался к кому-то, в равной степени чуждому нам обоим. — Или нет: слёзы были тяжёлые и грозные, как кулаки, а глаза недоступны. А когда тяжёлое вытекает из недоступного, да ещё с угрозой, случаются, так сказать, претыкания.

— Чёрт возьми, как ты прав! — закричал Лёнечка. — Я сам, вот этой головой помню, как однажды шёл по такому же лесу и, остановившись, посмотрел наверх. И я ничего не увидел! Абсолютно ни-че-го! Нет, я понимаю, что это было невозможно и нелепо. В конце концов, я чётко представлял себе, что, будь это не я, а какой другой человек, он бы увидел — ну, там, небо, облако, кроны деревьев, мужика, кстати, следившего за мной с верхушки ясеня. Да и, чёрт, я сам всё это прекрасно мог увидеть. Только почему-то все образы в тот момент ушли из моей памяти, и мне попросту не с чем было сравнить, не с чем было, того, идентифицировать увиденное. Понимаешь ты это? Все вещи, которые меня окружали, вдруг стали несравнимыми, небывалыми, это было настоящее затмение.

Гера, конечно, меньше всего мог ожидать от Лёнечки такого подтверждения своей, по большей части непродуктивной мысли. Тем более это было ему приятно: он даже встал и потоптался на одном месте, как он всегда поступал, когда кто-либо внезапно подтверждал его правоту. Тут же признание было всеобщим. Даже Настя, находясь по ту сторону сознания, приняла живое участие в дискуссии.

— А может, в мире что-то не так, что это так? — робко спросила она из очередного обморока.

— Настька, сволочь, я тебе сердце вырву! — донёсся из палатки голос Иры.

После всего вышесказанного не вызывает никакого удивления тот факт, что люди стали исчезать.

То, что к тому времени пропали дозорные, не находит в душе моей никакого отклика: так им и надо. Они, по моему мнению, и вовсе не были людьми, так что сожалеть не о чем.

Первым исчез Вадик. Тот самый, который спал на стульях, который умудрился получить по морде в кафе «Росиночка», которому вечно не хватало денег на что-то грандиозное и непредсказуемое. Однако никто из нас не придал должного значения исчезновению Вадика; напротив того, все, за исключением, разве что, Карины и Коли, чрезвычайно возмутились очередной идиотской шутке, твердя, что это уже переходит все границы, и даже Ира выползла из палатки и стала требовать, чтобы Вадик водворился на место и немедленно прекратил балаган; и лишь тогда, когда Сергей Иваныч, очнувшись, заявил, что

он сейчас же отправится на поиски мерзавца и надерёт ему уши, и сию же секунду, как лёгкий дым, растворился в воздухе на наших глазах, стало совершенно ясно, что товарищи наши потеряны навсегда и никому не уйти от расплаты.

С реки потянуло совсем уже безобразным холодом. В гробовой тишине, прислушавшись, мы различили слабые мерные всплески воды, словно бы кто-то плыл по реке на вёслах именно в эту ночь, быть может, стремясь укрыться от ужаса, а может, и наоборот, будучи его причиной. Последней точки зрения придерживалась Карина, вообще склонная мифологизировать события.

Ветер поменялся. Мы уселись вокруг догорающего костра и только тогда не досчитались Насти. Бедняжка исчезла так стремительно, что мы не успели с ней попрощаться даже взглядом. Это было особенно печально. Впрочем, Гера заметил, что Настя всегда тяготилась нашим обществом, не без основания подозревая нас в причастности к тем злополучным событиям, которые и послужили причиной череде её затяжных обмороков.

— Ей там лучше, — заявил Гера, и это «там» прозвучало так убедительно, словно бы сам Гера был его непосредственным и полномочным представителем.

В другое время это заставило бы меня очень основательно перемениться к Гере. Я представляю, как та же Карина подошла бы ко мне из-за спины, как она обычно и делала, и, ткнув пальцем в Геру, спросила бы: «Почему ты так переменился к нему?» — на что я бы ответил, что если прежде у меня было определённое представление о том, кем являются мои товарищи, то теперь такового представления нет, а стало быть, нет и сочувствия к настолько малоприятному существу, каким является Гера. Вернее сказать, конечно, являлся. Потому что с того времени, как мы расположились на пикник у этой неблагословенной речки, говорить о нас всех следовало в прошедшем времени. Которого, прошу принять во внимание, в русском языке не существует. Как не существует будущего и, если быть уж до конца откровенным, — настоящего.

Видимо, в тот момент я на какое-то время потерял контроль над собой; следственно, и над другими, и, в особенности хочу подчеркнуть, над Ирой, которая, как выяснилось, более остальных нуждалась в подобном контроле. Больше того скажу: ей с очевидностью не хватало твёрдой руки. И не потому, что образ жизни, которую она вела, казался мне нагло безобразным, не потому даже, что то, как она поступила с Сергеем Иванычем на третьем году их совместной жизни, которой, заметим, уже не будет, или если будет, то, уж конечно, не здесь, — так вот, не потому, что это наилучшим образом характеризовало её полный моральный

обскурантизм; но в первую очередь потому, что ведь она могла хотя бы попытаться сдержать свои никому уже в абсолютной степени не нужные эмоции, вызванные известно чем, хотя бы, опять же, для того, чтобы не до последних пределов омрачать те последние глотки воздуха и, раз уж на то пошло, свободы, которые мы к тому времени ловили уже с удесятерённой живостью, естественно, не рассчитывая благополучно выбраться из этой передряги. Я это говорю к тому, что, время от времени поглядывая всё же на Иру, я заметил, что после исчезновения Насти на её лице заиграла вообще неуместная улыбка, причём, господа, такая, знаете ли, кроткая какая-то, особенно беспомощная, жуткая. Ну, оно понятно, в общем-то, я ведь уже сказал, что Ира не любила Настю и исчезновение последней ничего, кроме улыбки, и не могло вызвать у Иры, но ведь надо же было хоть как-то соотносить своё поведение с тем, что могли испытывать товарищи; я, по крайней мере, так и делал. Но нет, она, видимо, решила уничтожить нас сразу, не дожидаясь, пока небытие поглотит оставшихся.

Поэтому-то, услышав смех, я сразу догадался, что это проделки Иры. Кому же ещё? И точно: взглянув на неё, я увидел, что она хохотала без удержу, то откидываясь назад, то наклоняясь вперёд, хохотала так, что утопленники в реке спеша расплывались в разные стороны.

Лёнечка и Гера, к которому я всё-таки переменился, бросились унимать Иру; пробовали заткнуть ей рот; возникла идея связать её так же, как и Машу, или даже ещё сильнее, потому что Маша, как ни крути, всё же была предсказуема. Однако случилось обратное. Нет, Маша не развязалась, так как, повторюсь, была предсказуема. Но вот Лёнечка, который до этого всё пытался засунуть в горло Иры её же собственный локон, чтобы она замолчала, внезапно оставил свои попытки и со словами: «А да ну её к чёрту!» — тут же принялся ржать самым бессовестным образом, перебивая хлипкие смешки Иры.

Через пару минут мы, поддавшись зловещей фасцинации, драли глотки и смеялись до слёз, валясь на землю и указывая друг на друга пальцами.

— Нет, послушайте, — кричала сквозь смех Ира: — раз, два, три — и пуф! И нету! Нет, это же просто прелесть что такое. Как будто ластиком стёрли!

— Давайте водить хоровод! — надрываясь, басил Гера. — Ну, давайте! Ну, хотя бы маленький, а?

— Да, да, да, хоровод! — кричала Ира. — Это же считалка! Я чувствую себя героиней считалки. Раз, два, три — и хлоп! Выходи, кому водить.

— И тогда Штирлиц мне говорит: а вас, поручик Ржевский, я попрошу остаться. Представляешь? — шептал мне на ухо Лёнечка.

— Нас вообще никогда не было, — раздался вдруг унылый, мелодичный голос Маши.

Тем самым Маша, как ни крути, внесла на редкость свежую струю в онтологически перегруженную атмосферу нашего, с позволения сказать, отдыха. Смех схлынул, как его не бывало. Мы сидели у мёртвого костра, ошеломлённые наваждением, чуть заметно приходя в себя, хотя казалось бы, с чего? Поскольку само наваждение не было столь уж непереносимым, в отличие от идеи, которая была высказана Машей в завершение всеобщей истерики. Пришлось, кстати, спешно, по ходу пересматривать теорию о безнадёжной предсказуемости Маши, несмотря даже на то, что сил никаких уже не оставалось; даже на то, чтобы оценить ма́шину мысль, которая, ей-богу, того стоила.

— Это безумие, — выразил общее мнение Гера. — От чего мы скрываемся? Разве не достаточно того, что уже произошло? Или нужно, чтобы исчезли вообще все? Редкостно злополучное желание, правда? Что мне интересно, так это то, кто будет следующим.

Между тем Лёнечка поднялся во весь свой исполинский рост.

— Ставлю десять баксов, что следующим будет Коля, — сказал он, роясь в карманах.

Все обернулись, посмотрели на Колю: тот блаженно сидел, уставившись в одну точку, из которой чистыми линиями расходилось вполне осязаемое будущее. Уже нисколько не таясь, каждый из нас желал, чтобы слова Лёнечки оправдались вплоть до последней йоты. И совсем отнюдь не вина Коли, что наши взгляды никто не думал обучать бережности тогда, когда это качество ещё могло было им быть привито.

А между прочим, со стороны Лёнечки подобный жест был форменным ухарством: он никогда не выигрывал пари на деньги, ему не везло в тотализатор, и если в толпе кому-нибудь на голову и падало нечто унизительное, то это в большинстве случаев был он. Однако всё это ничуть не помешало Коле исчезнуть. И мне, кажется, удалось усмотреть определённую логику в том, что почти одновременно с ним исчезла и Карина, ведь их связывала не простая симпатия, а в некотором смысле общность судьбы, если, конечно, можно говорить о какой-то судьбе применительно к Карине. Известно же, что судьба, по определению, есть нечто большое, в ряде случаев даже тяжёлое, а Карина, в свою очередь, несмотря на всё моё безграничное к ней уважение, была всего лишь ветреной пустоголовой девчонкой, откровенно говоря, дурой, особенно на фоне Коли, и уже исходя из этого становится вполне понятно, почему, в то время как Коля

изрядно-таки помучился, Карина исчезла с какой-то прямо артистической небрежностью, словно всю жизнь готовилась именно к этому.

— А что, если просто убежать? — спросил Лёнечка после размышления, которое явно не прошло для него бесследно. — Если смыться из этого чёртова места? Вон сколько пространства вокруг. Тот же лес… Податься в партизаны, пускать под откос порожняки, питаться корой.

Не знаю, право, на что он рассчитывал. Мне даже его предложение показалось грубо циничным, чего я ни при каких обстоятельствах не мог ожидать от Лёнечки. Нет, в самом деле, неужели тот, кто так тщательно спланировал наше уничтожение, кто сумел довести нас, людей, в высшей степени подготовленных к самым тяжёлым ситуациям, до такого состояния, при котором нам оставалось только покорно следить за собственной необжалованной участью, неужели, говорю, этот человек, если только человек, не предусмотрел с нашей стороны банального бегства? Бегства, выражаясь языком, куда? Там-то, я уверен, расставлены были такие ловушки, вырыты такие ямы, по сравнению с которыми наши тогдашние печали — один лишь размашистый пфуй.

Вот и Ира, с которой, после известных событий, я уже старался не спускать глаз, видимо, пребывала в тех же мыслях, потому и решилась урезонить Лёнечку, и слава богу, потому что если не она, то кто же?

— Тебе что, так не сидится? — сказала она, в числе прочего, Лёнечке. — Сам же просился: пойдём на пикник да пойдём! Скушал? Вот и сиди себе, и не разыгрывай из себя принцессу на горошине, а не то я…

А вот что — «не то», она не договорила. С приглушённым хлопком, оставляя следы аммиака в воздухе, Лёнечка пропал из виду. Память о нём бессмертна.

— Вот так-то лучше, — сказала Ира и тихо заплакала.

Мне уже, и даже в иных тонах, доводилось говорить о жестокости и жалости; то есть, конкретней, господа, о том самом, что так или иначе, подспудно, едва касаясь, шутя, но могущественно управляло нашей несчастной группкой, делало с нами то необъяснимое, без чего каждое произнесённое слово разлеталось бы в ничто, как китайская петарда. Ведь когда один из нас внезапно становился чересчур жестоким к остальным, так, что злоба подступала к горлу и шипела в ноздрях, остальные тотчас окружали его стеной непробиваемой жалости и гасили приступ; и наоборот, стоило одному кому-нибудь из нашей среды переполниться жалостью, как все прочие изощрённо жестокими способами возвращали его в сознание.

Вот тогда-то, когда исчез Лёнечка, я и понял: нет больше у нас жестокости и нет больше жалости. Отсюда можно было делать всё, что угодно, без опасения, что это как-то тебе отзовётся или что-то изменит. Лучшие из нас понимали это с самого начала, а худшим из нас пришлось по ходу дела убедиться, что если и было что-нибудь надёжное, стальное, гранитное во всём нашем случае, так это, конечно, беспрецедентная уверенность в будущем. И то сказать: разве кто из нас отвёл от себя беду? Я сейчас не спрашиваю, возможно ли это было, но по факту — разве кто из нас пожелал избежать неизбежного?

Не скажу что, но что-то безусловно подсказывает мне, что в глубине души мы уже начинали любить это наше таинственное исчезновение так же, как прежде любили обнаруживать себя бесконечно живыми в пространстве. По моим наблюдениям, Лёнечка, например, исчезал уже с охотой, даже, так сказать, с азартцем. И я, грешен, начинал подозревать: не игра ли воображения, достаточно взнузданного обстоятельствами, все те ужасы, которые мерещились нам на протяжении этой ночи? Быть может, коварство привычек, в соответствии с которыми мы почитали для себя абсолютным несчастьем подобный исход, и было в результате тем единственным, чего действительно следовало опасаться.

Кстати, лучше всего исчезала Ира. Чувствуя приближение уже вполне счастливого конца, она порывисто ходила взад-вперёд по лагерю и вокруг палаток, мурлыкала плюшевые песни Земфиры, наконец, проваливалась в пустоту не сразу и полностью, а по частям, смакуя, нарочно подставляя под наши взгляды то одну, то другую сторону своего мерцающего тела.

— Смотри, как играется, — толкнул меня локтём Гера.

И правда, игралась, дурачилась, а под финиш взвилась в невероятном пируэте и с какой-то волшебной грацией рассредоточилась в воздухе.

— Уфф… Красиво! — выдохнул Гера, не в силах сдержать восхищения.

— Всем бы так, — уныло пискнула Маша из своего угла.

Я кивнул Гере головой в сторону Маши: «Ну что, развяжем?»

— Зачем? — удивился Гера, поднимаясь с земли.

Он подошёл к Маше, вяло белевшей в темноте, наклонился над ней и с усилием стал стягивать с неё отсыревшие от росы джинсы. Маша не отбивалась и не возражала, и даже, по-моему, пыталась помочь Гере связанными ручками. Возня скоро утихла, Гера поднялся и выпрямился, открывая вид на пустое место, где раньше валялась Маша.

Он вернулся и опять сел рядом со мной.

— Не успел, — сказал он, зевнув.

— А должен был успеть? — сказал я.

Гера многозначительно хмыкнул.

— В сущности, то, что произошло с нами, — сказал он после минутной паузы, — это абсолютно нормально. Не понимаю, из-за чего мы переживали. Если вдуматься, так было всегда, и так всегда будет. В конечном итоге, мы люди. Разве нет? Совершенно естественный ход вещей. Вот ты всё твердил: ужас, ужас. А что ужасного-то? Разве то только, что мы не сразу поняли и оценили всю нормальность этой ситуации. Но теперь-то наши глаза открыты, и мы можем читать прошлое, настоящее и будущее, как простую газету — без сожаления, без горечи. Как подумаешь, какими мы были раньше! Какие-то нервные, взвинченные типы, которые шагу не могли шагнуть без ужастика, которые боялись собственной тени, которые со страху готовы были скорее слопать друг друга, чем просто взглянуть на вещи реально. Ты, может, скажешь, что мы это делали из любви к жизни? Ни хрена себе любовь к жизни, когда ты лопаешь ближнего своего, а сам при этом трясёшься от каждого неровного кустика! Но теперь это, слава богу, прошло. И ведь в чём штука-то: ничего как бы и не изменилось, а мы уже совсем другие. Да, другие. И мы отправляемся в слишком далёкий, чтобы высмотреть его насквозь, путь, у которого не будет конца, и у нас, и у нас не будет конца, а будет вечный полдень, и мы ясными глазами увидим всё, что до́лжно увидеть, и каждой вещи дадим своё имя, и поставим законы, и одарим силой любого, кто подаст нам руку.

Я посмотрел в ту сторону, откуда доносились эти слова, но ничего так и не увидел. Должно быть, слишком темно. Или темнота какая-то слишком разговорчивая.

Я иду по непроходимому почти лесу, шатаясь между стволов, как пьяный. Лесные звери мне в руку кладут орешки, но я в этом вообще никак не заинтересован. Иногда мне кажется, что я заинтересован выйти из этого леса на свет, к людям, но тотчас я понимаю, что это пустяк, фантазия.

В моём мозгу шевелятся обрубки какого-то смутного воспоминания. Появляются перед глазами чьи-то добрейшие, но незнакомые лица. Это лица друзей. Так говорит моя память.

Но мне бесконечно ближе тот неоспоримый факт, что моя память фальшива и что все её причуды — это есть пустяк, нездоровый нарост, игра природы.

Я отнюдь ничем не заинтересован в этом.

Иногда мне кажется, что со мной что-то произошло, какая-то катастрофа. Я думаю, мне просто приятно так думать. Всегда приятно думать, что ты что-то пережил и что у тебя за плечами катастрофа. Я улыбаюсь себе, сочиняю сногсшибательную историю: меня, дескать, украли цыгане, а потом продали арабам. Потом меня обменяли на ядерную боеголовку. Боже, думаю, как это катастрофично сказалось на моей жизни!

Опять же, повторяю: никакого интереса.

Треугольник

Так получилось, что наш папа работает в филармоническом оркестре музыкантом и, исходя из собственных представлений об этой профессии, музицирует он всего охотнее на так называемом треугольнике. Собственно, папа в качестве некой универсальной сущности очень даже ничего себе и может, в случае острой необходимости, всё: и скрипкой лязгнуть, и медной трубой возопить, — но всякий ищущий в папе вселенских гармоний должен иметь в виду следующее что: что папа сказывается в треугольнике самым что ни на есть катафатическим способом, тогда как во всех остальных случаях он есть чистая апофатика и ничего более. Напротив, для сторонних наблюдателей, к каковым принадлежим и мы, его отпрыск, именно сущностная сторона нашего папы оказывается, в результате, наиболее подверженной чисто негативному способу созерцания. Что касается нас, то этот парадокс мы осознавали ещё в утробе нашей матери, не умея выразить его вербальными средствами, и с тех пор, если откровенно, мало что изменилось в этом отношении.

Папа, стало быть, являлся формально-гилетическим выражением некоего космогонического процесса, даже в качестве теории, впечатляющей наши слабые умы совершенством своей конструкции. Практическая же сторона деятельности папы сводилась к технике, которую он сам называл без лишней скромности супертрификацией. Он занимался ею во всякое удобное и неудобное время и у всех на глазах, нимало не опасаясь того, что ему за это могут, чего доброго, и попенять. Здесь надобно отметить, что в сезонных программах нашей филармонии коронное место всегда занимала одна чертовски увлекательная пиеса одного мохнатого композитора, построенная как две тяжелейшие, громоздкие, монументальные, но уравновешенные части с папой посередине. То есть, когда первая часть опуса близилась к завершению и все орхестры и фимелы

безжалостно восходили, нарастая в сумасшедшем крещендо вверх, и застывали всею громадой, в оглушительной тишине зала раздавался звук папиного треугольника, разрешавший собою яростный клубок сил и страстей мира. Сущность папиной супертрификации, стало быть, заключалась в том, что бить по треугольнику нужно было не сильно и не слабо, а так, чтобы произведённый звук был самым тихим и в то же время самым решительным во всём бытии. Отсюда следует, что и весь макрокозм в папином представлении имел следующее замечательное содержание: вселенная, в подобие некоего сумрачного балахона, висела на нашей планете, сама Земля, в свою очередь, держалась на нашей убогой стране, страна прочно покоилась на нашем городе, город имел свои основания в существовании филармонии, последняя существовала исключительно благодаря произведению пернатого композитора, которое само по себе, как на огромной пуговице, держалось на папином треугольнике. И вот, папа — злополучный Атлас — был призван к ношению столь сурового креста, что нельзя было представить, как он выдерживает эту тягостную ношу, а между тем он не только не изнемогал под ношей, но, кажется, находил в этом сверхчеловеческие силы для полноценного бытия. И было так, что, если подойти к папе и спросить его: «Что есть треугольник?» — он улыбнётся и, возведя глаза, ответит:

— О, это безвестный атом! — и уйдёт к себе в комнату репетировать.

Случилось же так, что в один скотоподобный день, и это был день Июля, папа просматривал программку концертов на следующий сезон и не обнаружил в ней пиесы рогатого композитора. Ничто дурное не затмило ум папы, заполненный звучанием треугольника, и он отправился чуть погодя к директору филармонии, чтобы указать на досадную опечатку в программе. Удар постиг его в коридоре. Встретившийся виолончелист, поприветствовав его, сказал ему, что он тоже очень сожалеет по поводу реорганизации программы и особенно потому, что пришлось отказаться от вещи, которая, что очевидно, была их коронным номером. Мы плохо представляем себе меру столбняка, паралича и амплификации, охватившей тогда папу, но уже через двадцать девять минут он водворился в кабинет директора и, размахивая программой, сказал:

— Почему?

Директор же, как таковой, сам по себе, был абсолютным ничтожеством и лучше других понимал это, но, дабы не выказать перед папой весь позор собственного существования, с ходу же, не утруждаясь объяснениями, заявил, что он твёрдо так решил и что так и будет. Этим, стало быть, он давал понять, что не только решил, но вдобавок имеет определённые амбиции в отношении предвидения будущего, чего папа взять в толк уже точно не мог, ибо будущее без

треугольника ему представлялось кромешным и лежащим ниже крайнего предела всякой допустимой онтологии. Подивившись, сколько мог, разнузданности директорских претензий на бессмертие, папа извлёк из кармана треугольник и, потрясая им, как неотразимым аргументом, задал риторический и победоносный вопрос:

— А как же это?

Директор устало посмотрел на него сквозь мутные глаза свои и произнёс:

— Уберите, уберите это, спрячьте… Ну, я прошу вас… Ну что вы как ребёнок, в самом-то деле!..

— Это я ребёнок? — возмутился папа. — Это вы ребёнок! Вот, смотрите, смотрите на эту вещь, которую вы хотели запретить, и пусть вам стыдно будет! Да, господин Дыромоляев, да, это именно то, что вы видите. Правду не спрячешь! — и с этими словами папа так осенил треугольником директора, что тому ничего другого не оставалось, как выставить папу вон и пригрозить увольнением.

С того самого времени в жизни папы начался период мытарств и скорбей. Дни напролёт он обходил вереницы загробных учреждений и возмущал кожаные складки дверей в кабинеты смертоправителей с одним-единственным требованием — восставить из пепла театр пузатого композитора и его самого в качестве краеугольного камня означенной подвижной архитектуры. Ничуть не бывало. Городская чёртократия в один голос твердила, что вопросы репертуара суть внутренняя проблема филармонии и что вмешиваться в неё не станем, но раз уж на то пошло, то всесторонне поддержим директора оного богоугодного заведения, ввиду того что треугольник изжил свой потенциал и принципиально немодифицируем, а равно с ним и сам папа подлежит скорейшей утилизации. Папе же, стало быть, было всё равно, кто и каким изумительным способом сведёт его к нулю, но дело оборачивалось тою стороной, в которую папа прижизненно верил как в кромешную тьму и зубовный скрежет, а поскольку конец света — дело интимное, постольку и поник он духом, и увял, и был немощен, словно оба мира, как челюсти, сомкнулись на его голове.

Но осенние дни легки, и многие из нас, ухватившись за паутину, носятся в это время по воздуху, нимало не заботясь о самозабвенных видах, открывающихся нашему внешнему взору. Пролетарии же эти суть трудящиеся нижнего воздуха, кое-кто из них сильфы, другие же — племя мёртвое, с бреющими глазами, и оттого всё, что мы видим, лежит об эту пору скошено, как трава на высоком лугу, дожидаясь огней. Средь нас иная сволочь, вероятно, и приметила отсутствие в репертуаре филармонии злополучной сурдинки и, как, в некотором смысле, существо чистое, не уличённое в мыслительной деятельности,

воспротестовала и заявила куда следует, дабы всё бывшее вернулось сызнова, как в дни её характерной юности. И се, по её бесхитростной просьбе, во имя мировой культуры в естественной её среде, как репетиция ещё не ведомого, но уже нарывающего чуда, шедевр треклятого композитора был восстановлен в своих правах на членораздельное звучание и благодарность потомков. В связи с чем папа, принципиально саботирующий основную работу и пробавлявшийся до того неким подножным кормом, был призван к столоначальству культурного факта, где ему в невыразительных формулах было сообщено о триумфе истины среди земного мизерабля.

Однако, вопреки ликованию, авентюра сия ознаменовалась вот каким пренеприятным к папе обращением:

— Так что поздравляю вас, — сказал директор, чувствуя важность момента, — вторая скрипка ваша.

— Как, то есть? — спросил папа и тут же почувствовал, как во всём его теле раздался тихий, но крайне омерзительный свист, как будто кто-то стал осторожно спускать из него воздух.

— Трагедия, — сказал директор. — Илья Григорьич Штейнбок, царство ему небесное, на днях безвозвратно погиб, упав с двадцать третьего этажа. В лепёшку! Говорят, наступил на развязавшийся снурок и не удержал равновесия. С ним и раньше такое случалось, особенно — помните? — на фа-диез третьей октавы, мы ещё все хохотали: в лепёшку! Да, кто бы мог подумать… Так что… а, впрочем, я вижу, вы и сами уже хотите подмахнуть чёрта! Ну, хорошо, кто же, кроме вас, и возьмёт-то эту партию?

— Минутку, — медленно произнёс папа, — а кто же будет играть на… — он достал из кармана сияющий треугольник, — на этом?..

— Никто, — сказал директор и с глупой, но убедительной улыбкой развёл верхними конечностями.

Папа недоумённо смотрел на него и с таким видом, будто директор среди разговора вдруг начал отплясывать джигу на письменном столе или ни к селу ни к городу процитировал японскую хайку на самом настоящем японском языке.

— Видите ли, — начал пояснять директор в этаком поддатом серьёзно-оскорбительном тоне, чтобы папе кое-что показалось, — то, что мы восстановили симфонию, вовсе не означает того, что мы будем потакать вашим личным интересам в противовес интересам общественности, более того — интересам самой музыки, её развития, её качества, да и просто здравого смысла. Вы, как образованный и мыслящий человек, сами же согласитесь, что нужно следовать духу, а не букве. Мы выходим сейчас на принципиально новый уровень, на нас лежит большая ответственность перед будущим, и в первую очередь мы

заинтересованы в том, чтобы дать современному человеку адекватное представление о том лучшем, что было создано до него. Мы должны прокладывать ниточки от современности к прошлому, чтобы наши дети не чувствовали себя в этом мире безродной тенью, чтобы человеческий дух, который, знаете ли, не может не творить, не оказался в совершенном культурном вакууме, понимаете? Мы для того и реформируем сами принципы подачи материала, чтобы облегчить нашему с вами современнику понимание того, что есть незыблемые ценности и что они по-своему прекрасны. Вы профессионал и кому как не вам должно быть понятно, какие горизонты высшей духовности откроются человеку, как только он ближе познакомится с великим наследием прошлого, так сказать, прикоснётся к истинному мерилу вещей. Может быть, мы и не представляем себе, сколько бетховенов живет по соседству и какой бах возможен в человечке, которого мы с вами бы и не приметили! А вы, вместо того чтобы радоваться этим возможностям, вставляете нам свой треугольник в колёса! Ну что вы за сволочь-человек-мучитель! Если хотите, мне тоже жалко, что пришлось отказаться от старого доброго треугольника, но цена, цена вопроса — несоразмерна! Или, может быть, вы хотите, чтобы мы с вами законсервировались в своём прекрасном далеке и попросту не обращали бы внимания на то, что вокруг происходит? Что появляется целое поколение людей, которые не имеют никакого реального представления о том, что было до них, и, между прочим, это из-за таких вот, как вы, у них нет никакого интереса к истинной культуре, потому что вы, как собака на сене, попросту не даёте им возможности познакомиться поближе с нашим миром, дискредитируете его в глазах ничего не подозревающих людей. Вам не совестно после этого? Если вы, из-за своих дурацких амбиций, и в самом деле хотите заспиртовать наше живое искусство, то грош вам цена как профессионалу. Я даже не назову вас профессионалом, я назову вас негодяем, если это действительно так. Впрочем, мне не особенно верится в то, что вы сознательно избрали такую морально ущербную позицию. Скорее всего, здесь обычное непонимание, некоторая узость кругозора, допустимая для вовлечённого в процесс творческого человека. Но теперь-то, я надеюсь, вы не будете упрямиться?

Папа слушал директора, как случайный дым, у него в голове не уместилось и трети обращённых к нему слов, но более того он не понимал, как можно давать пиесу хвостатого без треугольника: это всё равно, что скорлупа без ореха, всё равно, что фонарь без батарейки, — совершенно пустое место.

— Как же вы, господин Дыромоляев, решились на такой подлог? — тихо спросил он. — Вы же просто врёте тем, кто вас слушает. Вы после этого просто шарлатан. Вас взашей гнать надо отсюда. Вы ещё

помните, как называется эта вещь, которую вы изволите кастрировать? Она называется «Пирамида», а посудите сами, что есть пирамида, как не треугольник, возведённый в квадрат?

Говоря это, папа уже понимал и ощущал всем существом своим, что что-то в нём оборвалось, и окончательно, бесповоротно надежда, которая вымывала из него жизненные силы, сгинула в чёрных водоворотах этой безвестной планеты. Напряжение и страх, которые он постоянно до этого испытывал, сменились какой-то странной задумчивостью, совершенно к себе безучастной.

— Ну, положим, кого тут гнать, решаю я, — сказал директор. — И кажется, я уже решил. Вы очень много потеряли в моих глазах и в глазах всего нашего коллектива за последнее время. Я всё думал, что это безмозглое упорство в вас наносное и что со временем оно как-то само собой рассосётся. Но нет, всё оказалось гораздо хуже. Полагаю, что нам придётся с вами расстаться, и на этот раз навсегда.

— Да-да… — папа спохватился и, аккуратно завернув треугольник, сунув его в карман, двинулся к выходу. — Мне пора, пора… Так, — он резко обернулся у выхода к директору, — в лепёшку, говорите?

— Ступайте уже. Глаза бы мои вас не видели.

Восемь дней после этого разговора папа добирался домой. Всё это время до нас доходили слухи о том, что он был замечен в самых разных уголках нашего прекрасного города, причём, что было особенно замечательно, появлялся он как бы сразу везде и, продержавшись некоторое время, так же повсеместно и исчезал. Один раз даже, в один из этих дней, он был уличён в шпионаже целой группой товарищей, из которых бо́льшая часть представляла собой его же собственные модификации, так что вышел конфуз. К этому же разряду относились и непроверенные известия о том, будто бы папа совершил ритуальную пляску на одной из центральных площадей города, вследствие чего был задержан нарядом милиции, но тут же им отпущен восвояси с извинениями. Фантазийность этих и подобных им слухов подтверждалась ещё и тем, что к утру девятого дня папа явился домой в состоянии глубокой задумчивости и, не отвечая на естественные в таких случаях расспросы, заперся у себя в кабинете.

«Директор, наверно, дурак», — думал папа, сидя в кресле и созерцая совершенство треугольника, и мы не могли с радостью с ним не согласиться.

К концу Октября, стало быть, произведение лохматого композитора вновь принялось звенеть в ушах наших звуколюбивых граждан, а вместе с тем событие это сопровождалось тем презабавнейшим обстоятельством, что — с неба, не с неба — даже не поймёшь

хорошенько, сверху или, не приведи господи, снизу, — в общем, буквально из ниоткуда на наши головы стали сыпаться куски мёртвой материи, самой деликатной, признаться, формы, и огорошивали многих из нас необходимостью должного и достойного их применения. И хотя жители и прочий электорат подбирали их с огромной и нескрываемой охотой, даже целыми стадами рылись в этих кучах, стремясь вырвать себе кусок понадёжнее и облагодетельствовать им своё семейство, всё же с каждым днём этих кусков становилось всё больше, так что в итоге образовалось даже некоторое перенасыщение, условно говоря, рынка, а главное — развращённые количеством и разнообразием этих сегментов, мы с каждым днём стали находить их всё менее и менее соответствующими нашим возрастающим потребностям, и это доставляло немало огорчения. Составилось впечатление, будто там, наверху или, не дай боже, внизу, в общем, нигде, нечто было подвержено столь оглушительной эрозии, что мы здесь, где-то, совершенно отчаялись справиться с её последствиями. Но, к счастью или не очень, это мероприятие было уравновешено тем, что и у нас наше привычное гнездилище начало как-то редеть и многое из того, что было впитано нами с молоком матери, с весёлым бульканьем стало проваливаться куда-то вниз, или же как повезёт.

В один из этих дымообразных дней папа застал нас, когда мы, его тридевятый отпрыск, лежали в люльке и играли по-своему с куском мёртвой материи, по счастливой случайности залетевшим к нам в дом. Увидя это, папа пришёл в феноменально задумчивое состояние и вырвал его у нас из рук, и потопташа его, и изуродуй его треугольником так, что играть с ним стало решительно невозможно. Заявив, что это последняя капля в чаше его баснословного терпения, папа заперся у себя в кабинете до весны, созерцая треугольник и изредка им позвякивая так, что не только какие-то там стены или некий бывший воздух — всякая тварь в поднебесной сотрясалась в самих основах своих и алкала крушения.

В ту же среду, когда началась весна, он покинул кабинет и, обведя глазами окружившее его отребье всех этих воровских миров, задумчиво вышел в сад. Подошедши к иве, он срезал перочинным ножом лозочку и проткнул ею треугольник своего сердца, — и этот звон, раздавшийся среди глухого чада, был слышен и в самой Туле.

И вот, мы, как прежде, лежим у себя в люльке и наблюдаем странное, зверинское небо. В нём набухают бутоны, гневные облака, и плавится самолётик в высокой печной лазури. Вокруг ходят люди, и каждый норовит заглянуть нам в лицо, и мы в негодовании отворачиваемся. И вот, мы берём в руки этот беспощадный треугольник и извлекаем из него первый звук, и всё вокруг дрожит, звенит и трясётся в ответ

ему, словно пытается сказать, что тоже живое, словно убеждает нас в том, что существует по истине, — а мы, стало быть, не верим.

Лохи

Несколько правдивых историй, рассказанных Неизвестным от своего лица

Фотограф

Жил да был один фотограф, только, что бы он ни фотографировал, у него всегда выходили одни бугорки и ямы. Всякий раз разные, но по сути, если отбросить ненужные условности, одни бугорки и ямы. Что он только не делал, извёлся, измялся, измаялся, исповедался старцу, измыслил неладное, внезапно изменялся в лице, поменял пять фотоаппаратов, пять, не говоря о штативах и кофрах, которым попросту нет числа, и ведь в чём пакость-то — фотограф он был настоящий, первоклассный, от бога, видишь ли, и ничем другим заниматься не мог и не хотел, и не занимался ни разу в жизни, а тут как назло эти ямы и бугорки. Но ведь зато какие качественные! И с каждым кадром всё лучше и лучше! Вскоре его необыкновенным образом заметили, и оценили, и съездили в Европу, конечно, и назвали лучшим фотографом десятилетия, лучшим — а это не каждому дано, премию, кстати, дали, очень хорошую премию, и очень вовремя, а он всё хотел сфотографировать хотя бы дерево. А потом вдруг взял и перестал хотеть. Чо ему в дереве? Гнездо, что ли, вить? С тех самых пор жизнь его стала прекрасна и обходительна, бугорки заметно выпуклей, а ямы значительно глубже. Да и сам он стал находить в них особую, ни с чем не сравнимую прелесть, кормил их и ухаживал за ними, а по вечерам рассказывал им о том, что случилось за день, что случится и чему уже никогда не бывать, — одним словом, зажил как человек. Вскоре и жена у него объявилась, он-то, конечно, поначалу думал, облачённая в солнце, а оказалось, дай бог если в халатик. Но это ничего, она ему, мурочка, детей родила — мальчика родила и девочку тоже родила, он их назвал соответственно Бугорок и Яма.

Они-то его и похоронили.

Дядя Валера

Никто ведь ничего не слышал о дяде Валере? Я — как бы это сказать по-человечески? — и сам ничего не слышал про дядю Валеру, и век бы ещё не слышал, зато, образно выражаясь, люди говорили, что был и даже ой как был, даже, стыдно сказать, редиской приторговывал, на что я говорил, что это уже вы, образно выражаясь, заврались, никакой редиской дядя Валера не торговал, он, может быть, редиску-то и в глаза не видел её подлую рожу, вот так-то. А был дядя Валера известным хиромантом, таким известным, что все остальные хироманты соберутся, бывало, вместе и говорят: нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет, этак мы, пожалуй, все у него в рукаве поместимся. Житья, говорят, никакого. И что бы вы думали? Сидит как-то дядя Валера у себя в кабинете, приёмчик ведёт, а приёмчик-то особого рода, да и народ разный попадается: кто конфеты приносит в коробочке, кто в воскресенье на пикничок зазывает, шашлык-машлык, говорит, вундершён, энкруаябль, а иной, может, до этого дела кошек трогал, да так септичными руками и тычет под нос, хоть плюй в них. Ну, дядя Валера, положим, профессионал и попусту плеваться не станет, только тихо-тихо сморгнёт и скажет: что-то линия жизни у вас как-то коротковата, вы часом не больны? Так вот, сидит он однажды в кабинете, типа чай пьёт с бальзамом, а тут к нему и войди посетитель — настоящее ходячее бревно, древесина, два с лишним метра ростом, серый плащик, шляпа, очки солнцезащитные, руки нарочно в карманах держит, типа замыслил что. «Дядя Валера, — говорит, — вы должны мне помочь». — «А что такое?» — говорит дядя Валера. — «А вот», — говорит посетитель и выкладывает перед дядей Валерой на стол ручища, каждое с лопату величиной. Дядя Валера смотрит, смотрит и никак в толк взять не может: ручки-то чистые, ни одной, даже худенькой линии нету. Перепугался он страх, тихо-тихо сморгнул и говорит: «Пошли вон». Но посетитель крепкий вышел, как уж сказано, бревно, повертел руками в воздухе пассы и сказал: «Мне бы хоть одну линийку, а? Чтобы как у людей было. Я, вот, тут и специальную иголочку припас». Если бы не специальная иголочка, дядя Валера, наверное, не так перепугался бы, а то испустил какой-то животный звук, когда понял, что от него требуется, но отказать не посмел, опасаясь, что этот, чего доброго, ещё и побьёт. А как начал на руках посетителя линии чертить, так даже увлёкся, вошёл в азарт, приговаривать стал: «А вот я вам какую длинную жизнь устрою! А здоровье, здоровье-то. Никогда болеть не будете. А хотите женщин? Много, куча, тонны, километры женщин!» — на что тот отвечал обычно: «Мне бы как у людей, а?» Работа была сделана, посетитель отпущен, а дядя Валера был крайне доволен тем, как он управился с непростой ведь ситуацией. Не тут-то было! Через неделю опять является то же бревно и с порога тоскливо на дядю Валеру через очки смотрит. «Ну что?» — говорит дядя Валера. — «Ничего», —

говорит посетитель. — «То есть как это, ничего?» — «А вот так: ничего. Никаких изменений». — «Ну, ето уж извините. Етого быть не может», — сказал дядя Валера и осмотрел ладони посетителя: все линии красовались на месте и просто кричали о беспримерной удаче их обладателя. «Так и быть, переделаю», — сказал дядя Валера с горечью, как художник, чьё изделие обидно забраковали, и снова взялся за иголочку. «А хотите, я вас гением сделаю? — говорил он по ходу. — Хотите? Во всём. Просто совестью человечества. Вас на руках носить будут. Тут, на самом деле, немножко подправить, плёвое, в сущности, дело». Бревно тихо вздыхало и жмурилось от такой перспективы, но опять же твердило своё, типа чтобы люди за своего принимали. Ну, дядя Валера кое-как управился, а когда через неделю посетитель пришёл опять, так даже чуть со стула не упал. Чего, кричит, пришёл? «Ничего», — отвечает посетитель. — «Не гений?» — кричит дядя Валера. — «Нет», — вздыхает посетитель и как-то виновато ногой водит. — «И на руках не носят?» — «Даже не пытаются». Дядя Валера опять за иголочку, а сам думает: сейчас я тебе такое сделаю, что ты и «мама» крикнуть не успеешь. По его подсчетам, именно в тот же день при переходе проспекта посетителя собьёт легковой автомобиль класса внедорожник, в результате чего он получит тяжелейший ушиб мозга и множественные переломы, в том числе позвоночника в двух местах, и повреждения внутренних органов, но прибывшие на место происшествия врачи всё же сумеют доставить его в отдел реанимации, где, однако, медсестра Варечка, предчувствуя вечерний семейный скандал и поэтому находясь не в лучшем состоянии духа, ошибочно введёт ему вместо положенного нейропротективного препарата средство для стимуляции гладкой мускулатуры матки, чем изрядно приблизит давно ожидаемый летальный исход. Через неделю дядя Валера, начавший от всех этих событий стремительно лысеть, ведёт приёмчик, а тут дверь тихо-тихо открывается и входит посетитель в плаще и шляпе. Дядя Валера как его увидел, так весь бальзам на пол спустил. А посетитель подходит к нему, лапы на стол кладёт и говорит: «Ну вот. Всё по-старому». Дядя Валера как-то даже заскулил, а потом выхватил из стола нож, каким карандаши чистил, да и полоснул по ладоням посетителя, да и выбежал вон из кабинета. С того времени он и прекратил свою практику, и стал на базаре редиской приторговывать, только в дождливые ночи выглянет из окна, а там под струями дождя стоит это бревно, руки выпростал, с ладоней типа древесного сока капает, говорю же вам, жуть полная. А на базаре-то редиску у него никто не покупает, говорят, пустая редиска, разве что оборвыш какой подойдёт к нему, посмотрит и скажет: «Дядя Валера, а ведь ты пузырь. Настоящий пузырь».

Коллекция

Настало лето, и мы со Стасиком решили поехать на дачу в деревню, отдохнуть и в земле покопаться. Я ведь страсть как люблю в земле копаться, иногда роешь-роешь — сна не видишь, лишь бы вырыть поглубже и посмотреть, что там. Стасик говорит, что, дай мне волю, я бы до Австралии докопалась, только я бы не стала копать до Австралии: я слышала, что в Австралии таким, как я, просто не дают из земли выкапываться, забивают палками и бумерангами и сплавляют по туннелю обратно. Когда мы приехали на дачу, оказалось, что там нет ни еды, ни газу, а что воду и электричество нам почему-то отрезали. Ну, мы в панике бросились к соседям. А соседом у нас оказался один человечек, лет пятидесяти, которого звали Иван Самыч. Я так и не знаю, что такое Самыч — фамилия или отчество; мы-то решили, что отчество, а вдруг фамилия и мы его всё лето так по фамилии и называли. Он отнёсся к нам очень неприветливо, даже как-то зло, но, как вдуматься, пришла молодая пара, в совершенно паническом настроении, не с топором же за нами гоняться. Вот он и стал нам помогать: то крупу какую даст или картошку, то помыться в летней кабинке пустит, то ещё чего. Ну вот, мы как-то и сдружились, Стасик по вечерам с ним в нарды двигал, я, перекопав всё, что можно, у себя, напросилась и ему в огороде картошку выкопать. Так что всё шло неплохо. До одного дня. Он тогда пригласил нас вечером на чай и, пока мы чай пили, говорит: «А пойдёмте, я вам свою коллекцию покажу». Я обрадовалась, потому что коллекции тоже люблю, особенно если это самое из земли вырыто. В общем, идём мы в сарайчик, каких много у него на участке было — штук пять или шесть, входим внутрь, Иван Самыч нас подводит к старому замызганному холодильнику, который накрыт какой-то не сказать чтобы очень ароматной тряпкой, и хитро так улыбается. Он вообще очень редко улыбался, а чтобы так откровенно — и вовсе не бывало. Отбросил он тряпку, открыл дверцу холодильника, а там на полках разложены стандартные пробирки с жидкостями и порошками, а около каждой приклеен клочок бумаги с латинской надписью, которую я из-за неразборчивого почерка не могла прочесть. «Ну что, — говорит Иван Самыч, поочерёдно вытягивая пробирки. — Ну, вот тут у меня, значит, грипп всех штаммов, менингит, вот холерная палочка, чума бубонная, столбняк, дифтерия — ну, это детское. Ага, вот лихорадка Эбола, рекомендую, сенная, тропическая лихорадка, ВИЧ-инфекция, малярия, сибирка, энцефалит, сифилис. Не угодно ли сыпного тифу?» — спросил Иван Самыч, протягивая пробирку. Я отшатнулась в ужасе, даром что медучилище заканчивала когда-то. А Стасик ничего, смотрит, даже улыбается. Когда Иван Самыч выводил нас из сарайчика, то, опять хитро ухмыльнувшись, сказал: «Всё это,

всё, что вы видели, всё до последней капли я завещаю городу. Ничего себе не оставлю». Я больше не могла в тот день чай пить и потащила Стасика домой. «Какое же это чудовище!» — сказала я уже у себя. «Да что ты, дурёха, — сказал Стасик, — замечательная коллекция. Просто супер». Я тогда посмотрела на него как-то по-другому — я ведь знала его с детства — и стала допрашивать, что это он такое сказал, но он больше ничего не говорил, отмалчивался и улыбался. После этого случая я и сама не ходила к Ивану Самычу, и Стасику запретила, только он меня не слушал, а всё равно ходил да в нарды играл. О коллекции мы больше ни слова не говорили, но и так было ясно, что здесь между нами что-то случилось. Вскоре мы уехали в город. А теперь я совершенно измучилась и не знаю, что делать. Вроде бы ничего у нас со Стасиком не изменилось, а на самом деле изменилось всё и сразу. Я стала бояться: я боюсь темноты, боюсь выйти из дому, боюсь своего попугайчика. Я боюсь оставаться со Стасиком наедине. Мне кажется, Иван Самыч на прощанье подарил ему одну из своих пробирок. С того времени до сих пор у меня ещё ни разу не повышалась температура, но если повысится хоть на полградуса — я знаю, что это будет значить.

Сапоги всмятку

Ах, как же это верно подмечено, как, бывало, говорили в народе: не в бровь, а прямо в зрачок. Были, были у меня такие сапожки. Я как-то бродила по рынку, думала чего бы купить, а тут гляжу — лежат на прилавке, такие лёгкие, замшевые, с серой полосочкой сбоку. Ну, я сдуру и купила. На следующий день надела и пошла к Нюше, чтобы она по швам разошлась от зависти. Иду, значит, по улице и вдруг слышу — хлюп-хлюп, хлюп-хлюп. Причём что: весна тёплая, сушь, пыль, кругом ни одной лужи, хлюпать-то нечему. Иду дальше и опять — хлюп-хлюп. Тут я и поняла, что это сапожки сами по себе хлюпают. Но, с другой-то стороны, сапожки вроде новые, подошвы на месте, всё на месте — чего им хлюпать? И звук вообще не такой, как обычно некачественная обувь издаёт, а всё больше вроде как водичка играет. Откуда бы? В сапожки воду не зальёшь, да и я бы почувствовала. Мы с Нюшей их и так, и этак вертели, и Нюша уже разре́зать и посмотреть предложила, только я вовремя их отняла: дорогие ведь. Да и красивые, такой красивой обуви у меня ещё не бывало. Так вот и стала я их носить, думала, что привыкну к этому хлюпу, а вот не привыкла, и с каждым разом он словно всё громче и противней становился, так что через пару недель я уже не выдержала и просто выбросила их к чёртовой матери. К тому времени у меня от этого хлюпа настоящая паранойя сделалась. Известно же, что каждый

человек слышит свой голос не таким, как он есть в действительности. Вот с той поры, что бы я ни говорила, кому бы ни говорила, у меня всё время в голове этот проклятый хлюп звучит. Я даже не слышу иной раз, что говорю: один хлюп-хлюп в ушах. Вот и сейчас: рассказала всё это — а сама ни слова не услышала из-за хлюпа, так что не понимаю даже, то́ ли на самом деле я рассказала, что хотела, или, может быть, что-то совершенно другое и ненужное.

Свидание по объявлению

Годы тренировок — и вот, я уже могу силою отвлечённой мысли передвигать курсор на экране. Сказал Валентин Эванович. Джоэля посмотрела на него с подобающим случаю восхищением. В её розовом личике субверсивно проступило несколько панорамных снимков заката Юпитера на Ганимеде. Надо признать, что это и вправду удивительная красота. Я плотно работал над качеством умного зрения моего третьего глаза. Сказал Валентин Эванович. Теперь, стоит мне только слегка наклонить голову, как я вижу пароли, скрытые за звёздочками неизвестных архивов в самых отдалённых уголках планеты. Мне воистину всё подвластно и всё знакомо. Джоэля удивлённо вскинула носик и, вытянув губы в трубочку, кокетливо подправила раздвоенным язычком слипшиеся ресницы. Зрачки её смущённо запунцовели, как у гимназистки. Я создаю нули. Каждое утро. Сказал Валентин Эванович. Мне не надо говорить, как это делается. Технология проста и безыскусна. Как раковина, я поглощаю любую вещь, и вслед за тем она обрастает во мне нулями, подобно жемчужине. Это моя раса-лила, и чорт возьми! это приятно.

Джоэля превентивно улыбнулась и отвела взгляд в сторону, подёргивая себя коготками по накрахмаленным косичкам. *Разве вы не маркетолог?* Сказала она, присаживаясь на скрученный хвостик. *В газете было написано: маркетолог…* Ранний, предвесенний парк был ещё зябок; на сумеречной дороге, вдали, время от времени прошлёпывали по лужам редкие прохожие, ещё не отягощённые нуждою вечернего променада.

Вас, похоже, это расстроило. Сказал Валентин Эванович. Ёжась от внезапного ветра. *Да нет, что вы…* Я по образованию маркетолог, а призвание у меня много выше. Джоэля звонко расхохоталась, обнажая четыре ряда острых маленьких зубок. *У вас классное чувство юмора!* Сказала она, чуть отойдя от смеха. *Нет, правда. Давно так не смеялась.*

Валентин Эванович стоял перед нею обрюзгшим холмиком и нервно теребил в руках несколько старомодную кожаную папку. Если взглянуть на Валентина Эвановича с этой стороны, то он предстанет подобием сочащейся от холодной сырости прошлогодней картофелины. Но если осмотреть Валентина Эвановича со всех сторон, как говорится, в целом, то зрелище окажется много, много ужаснее.

Я исключительно плодотворен. Сказал было Валентин Эванович. *Перестаньте, это плохо кончится.* Плодотворен и трудолюбив. Джоэля согнулась от хохота и нечаянно толкнула Валентина Эвановича в челюсть крепким витым рогом. Он отшатнулся и с мычаньем схватился рукой за лицо.

Вот видите? Простите. Меня нельзя смешить: что-нибудь обязательно да случится. Очень больно? Она участливо заглянула в лицо Валентину Эвановичу, обдав его эндогенным жаром горящих сланцев и ароматом бокситов и медьсодержащего колчедана.

Ннет, всё в порядке. С трудом проговорил Валентин Эванович. *А сводите меня в кино, а? А потом в ресторан. Можно?*

Валентин Эванович переступил с ноги на ногу, и в кармане у него неуклюже и тоскливо звякнула мелочь. Конечно. Сказал он с некоторою обречённостию.

Почему мне кажется, что с вами у меня ничего не получится? Сказала Джоэля, в то время как её короткие морщинистые крылья мгновенно вытянулись в пространство огромными, километровыми парусами. *Что я не получу с вами должного удовольствия? Что вы, ээх, меня ра-зо-ча-руете?*

Ну почему же, мэ… мм… мы… милая. С какой-то постыдной интонацией пробормотал Валентин Эванович. Кажется, у него начал крутить живот. *Вы хороший любовник?* Внезапно оживившись и встопорщив оранжевую шёрстку, спросила Джоэля.

Я? Оо… Сказал Валентин Эванович. Если подсветить Валентина Эвановича гамма-частицами с ближайшего дерева, то выяснится, что он обладает сверхвысокой проходимостью и отнюдь не склонен к возвращению в стазис. Но если облучить Валентина Эвановича гамма-квантами со всех окружающих деревьев одновременно, то результат может оказаться просто ошеломляющим.

Ясно. Пошли в кино. Сказала Джоэля и, ухватив миндалевидной, украшенной акрилом клешнёю Валентина Эвановича за тотчас размякшую голову, потащила его за собой.

В кино был пожар. После они сидели на лавочке возле кинотеатра и дружелюбно молчали. А может быть. Сказал Валентин Эванович. Потирая обгоревшее тельце. Вы хотите, чтоб. Давайте, я вам свои

стихи почитаю? *Вы бы мне ещё портвешки выпить предложили, в подъезде.* Сказала Джоэля, брезгливо сморщив грудки. По её гребенчатой спине прокатывались волны диссонансной материи, распадаясь микротональными вибрациями в слякотный ночной воздух.

Вот почему вы не работали по профессии? Сказала она, приподнявшись со скамейки. *Могли бы стать уважаемым человеком. Представляете, вы выходите из дому на улицу, а люди вам кланяются. Говорят, благодетель вы наш. А вы их хлыстиком, да каблучком, да велеть запрягать в тройку. Красиво же! Вас бы короли принимали. Сидеть по правую руку короля — сколь прекрасно это искусство. Вы поймите, я хочу, чтобы мой будущий супруг твёрдо стоял на земле. И под землёй, и над нею. Чтобы у него была работа, уважение, чтобы ему подчинялось всё сущее и всё несуществующее, чтобы он обладал всеми именами и всеми неименами чтобы, чтобы он уничтожал всех врагов и чтобы уничтожал всех друзей, чтобы у него было всё и чтобы невсё у него тоже было, чтобы он был как медведь, как вихрь, как лягушка, как бог, как нетленное мерцание в исключительно чёрном спектре скопления наших галактик. Я хочу быть за мужем, как за каменной стеной, понимаете?*

Сказала Джоэля, нависая над Валентином Эвановичем густым бархатом распахнутого зева. С открывшихся в глубине пасти клыков её стекала бирюзовой тягостной каплей смола, и гулкое дроботное эхо, как бы от проходящего в туннеле поезда, раздавалось из её утробы, откуда в нетронутой тьме за Валентином Эвановичем наблюдало две пары белёсых, бесцветных глаз.

Ведь надо же подумать и о наших с ним будущих детях. Добавила она. *Посмотрите, у меня не расстегнулась сзади молния?*

Джоэля повернулась к нему спиной, и Валентин Эванович, чуть приподняв копчёное тулово со скамьи, заглянул в раскрывшееся перед ним бесконечно пустое и равнодушно далёкое пространство, где нет ни света, ни тьмы, ни жизни, ни смерти, ни пробуждения. Нет. Солгал он, плюхнувшись на скамейку и наблюдая, как метрах в пяти от него тает и растворяется грязный асфальт, выпуская наружу вверх колонну серой ртутной массы, равномерно кружащейся, как тонкий бур, берущий пробу мёртвого мира.

О, а вот и мой автобус! Ну всё, мне пора. Пока-пока! Сказала Джоэля и втекла в серебристо-ртутную воронку. Валентин Эванович сидел на скамейке, отчасти напоминая одутловатый катышек постнатальной грязи, и махал ей вслед обугленной ладонью, и широко улыбался, если, конечно, это можно так назвать.

Тиктак

Послышался шелест занавесок, и в комнату, продираясь руками сквозь их складки, ввалился юный Ныгнык. Он судорожно осмотрелся вокруг, вытер подошвы туфель о коврик и пнул носком розовую, брошенную на пол, подушечку с вышитым портретом Сталина.

— Его-то за что?

Ныгнык испуганно посмотрел в сторону огромной кровати с балдахином: из-под плотно скатанного одеяла в упор на него уставились суровые розовые глазки Тиктак. Принявшись их считать, он сбился уже на втором десятке и подавленно вздохнул.

— Я полагаю, — продолжила Тиктак, не меняя положения тела, — что если человек не сделал лично тебе ничего плохого, то и бить его совершенно нет необходимости. Как бы чего не вышло.

Ныгнык попытался было возразить, но не справился с духом, а вместо того резко сорвался с места и принялся обходить и осматривать комнату, в которой оказался. Выглядело это тем более примечательно, что истерическая деловитость, с которой он осуществлял сей досмотр, нисколько не сочеталась с обликом молодого человека в трусах и разорванном на спине лапсердаке на голое тело. Так, например, когда он, подошедши к стене, приложил к ней щёку и стал примеряться к ней взглядом вверх, словно измеряя её видимую кривизну, даже самый доброжелательный наблюдатель затруднился бы ответить, что именно он хочет этим доказать и кому.

— Здесь ничего нет, — уверенно сказала Тиктак, высунувши лицо из-под одеяла.

— Вижу, — вполголоса буркнул Ныгнык.

Затем он перебежал к противоположной стене и, обнаружив там невысокий секретер, быстро пооткрывал все его ящички и ловко выпотрошил их содержимое на пол.

— А здесь? — спросил он без особой надежды, глядя поверх лица Тиктак, к куполу высоченного балдахина её кровати.

— А там что-то есть. Но это «что-то» волшебным образом относится к сфере так называемой частной жизни, если это не слишком трудное для вас словосочетание. Как бы это объяснить… Ну, возьмём за основу гигиену. К примеру, положено мыть руки после посещения туалета…

— Я не только руки! — возмущённо закричал Ныгнык, отскакивая от груды бумаг, выброшенных из секретера, и резкими жестами отстраняя

от себя обвинение.

— Ну вот, пожалуйста… — проговорила Тиктак, оборачиваясь одеялом.

Ныгнык стоял посреди комнаты совершенно неподвижно, будто бы не мог найти себе применения в сложившейся ситуации. Его взгляд долго бродил по большому ковру, занимавшему центр комнаты. Затем, чуть качнувшись, Ныгнык сдвинулся с места и медленно сел рядом с ковром, поджав ноги, и спустя ещё полминутки начал подтягивать ковёр к себе и сворачивать его в трубочку. Едва взвидев это, Тиктак вытянула заострённое лицо из-под одеяла и сказала с неожиданным надрывом:

— Ну вот этого не надо, а? Вам какое дело до этого, до этого ковра? Хорошо, свернёте, ну я допускаю, а потом же разворачивать — я же от вас этого никогда не дождусь. Все прямо-таки и жаждут этой геростратовой славы, а потом ещё о своей морали высокой говорят, о чувствах, угу… А ковёр уже свернут.

— Нет, ну это уже чересчур! — воскликнул Ныгнык, вскакивая с места, и снова понёсся ураганом по комнате. — Вы же просто душите меня этими своими претензиями. Я задыхаюсь, я так жить не могу, нет-нет. А вам, наверное, никогда не приходило в голову, что люди от вас страдать могут, да? Боже…

Он внезапно остановился перед огромным голубым светящимся аквариумом, будто выплывшим из высокой, в три человеческих роста стены, невесть как упущенным им во время первого, лихорадочного еще осмотра помещения. Внутри он был усеян мелкой золотистой галькой, из которой вверх, на три почти метра уходили одинокие стебли звёздного лотоса, подсвеченные голубоватой иллюминацией так, что в бесконечной тишине аквариума напоминали колонны храма, оставленного прежде появления человека на этой земле и ему не соразмерного. Присмотревшись к мелкому движению в глубине молчаливой воды, Ныгнык заметил, что между стволов растений плавала некрупная золотая рыбка, обыкновенный вуалехвост, особенно любимый начинающими аквариумистами за неприхотливую торжественность. Плавала тихо, едва заметно покачиваясь, вверх животиком, как и положено плавать посмертным рыбам.

— О беспузырность! — громко вскрикнул Ныгнык, патетически протягивая руку в сторону ёрзавшей под одеялом Тиктак. — Отчего?

— Плавниковое слабовращение, жаберная недостаточность, судьба, — сказала Тиктак. — Вам действительно интересно это знать? Или вы просто так, чтоб разговор не заканчивать? Ну хорошо: у меня просто тупо закончилось золото. Всё. Эти ничего больше не едят. Да вы на лицо ей посмотрите: она умерла счастливой.

Парою часов позже от созерцания счастья Ныгнык был отвлечён долгим, приглушённым и размашистым, старинного тона звонком, — нехотя подвевши глаза в сторону, откуда прозвучал звонок, он увидел медленно и беззвучно раскрывающейся высокую дверь, резную, тяжёлую и плавную. Как орга́н или как зачаток последнего леса, она уходила всей темнотою тела ввысь, под потолок или купол, в не доступную взгляду темноту уже небесного тела, сливаясь с ним от постороннего любопытного усилия. Словно повинуясь какому-то неотменимому приглашению, Ныгнык сдвинулся с места, отвернувшись от сияющего аквариума, и неспешно побрёл к двери. Она уже раскрылась на ширину человеческого тела, и когда Ныгнык прошёл за неё, в безлюдное пространство, она так же беззвучно и решительно схлопнулась за ним.

Обхватив колени руками под одеялом, Тиктак полусидя ритмично раскачивалась на кровати. В окне, из-за занавески виднелось далёкое отсюда черноголубое с розовым подпалом небо, которое то и дело пересекали молчаливые стайки стрижей и размечали крупные бессонные звёзды.

— Я говорю: смерть, смерть — но свидетельствую только о жизни, — вполголоса говорила, качаясь, Тиктак. Ряд её глаз, не мигая, опустело глядел вперёд, в возвышенную жизнь природы и механики света. — Я разве себя называю? Нет. Все эти миры, вся эта слава существует внутри меня, я, я порождаю бессмертие и героев бессмертия. Они ничего обо мне не знают, и не должны знать, но сила, которую я влагаю в них, ведёт их вон из трепетной жизни, сюда, в этот *покой*.

— Если бы там, в городах земли, с каждой улицы, с каждого вздоха невозможно было бы заглянуть ко мне в окно — чем были бы они? Простое гудящее ничто, которое нельзя — потому что некому — вообразить. Я глуха к жизни, пускай, но как земля наклоняется к морю и вот, уже потоплена им, так и жизнь склоняется к моей ласке и обретает силу творения, которой залиты мой день и моё утро.

— Я обращена спиною к подлинному — но я и вышла из подлинного! Меня выставили на мороз в одном исподнем, но в шаре моего дыхания рождается возвратная тяга и вновь предстаёт передо мною, здесь, чтобы я очистила её от протяжённого усилия и проводила к тем, кто отверг меня в это бесследное время. Жаль, я только свидетель жизни, я *ничего* не знаю.

— Разделение — это встреча, прощание — это единство. Нет, единство разделённого невозможно, но узнать достоверно, кто ты, можно лишь в присутствии тех, кто уже достоверно стал собой. Темнота жизни есть вода, исчерпать которую надо прежде, чем тяга откроет себя в полноте. Четыре души впервые увидят друг друга, как они есть,

чтобы приобрести своё достоинство и цель и уже конечно исчезнуть для тех, кто не в силах ещё заглянуть за покровы этой колышущейся занавески из глухого, бессмертного мира. Я исчезну и я останусь.

Эт: Псалом восхождения

Я побывала в стране, откуда мёртвыми не возвращаются.

В кипящей тени дубравы я схоронила свою немощь и свое отчаянье; там возвышается холм; там ускоряется шаг несвоевременного путника, чья забывчивость хуже дерзости; в беспамятстве проведёт он остаток ночей своих, и жаркое лето моё поглотит его кроличье сердце — оно станет сухой изумрудной пыльцой, вздымающейся под крыльями тонких прозрачных стрекоз, оно станет отдалённым звоном колокола в сельской церкви, запертой и безлюдной который уж век подряд, оно станет колыханием блещущей глади пруда, отражением блика в прозрачном зрачке юной саламандры, выглядывающей с любопытством из-под влажного листа.

Я Эт, жаркое лето своё; я неведомое господу, чьё имя Всуе, и мне он возносит тук жертв своих.

Я есть любовь, и никто не осудит меня; и я не осужу никого, ни своих, ни чужих, даже если смертельно им будет неосужденье моё.

Ровный полдень — моё дыханье, и я осветила всякую вещь, пребывающую во мне, ко славе её прибавила бездну ясности.

В мире нет больше тени: я разомкнула её, как пустую шкатулку под блеск восходящего зноя!

Я чёрное солнце, перекричавшее собственный крик, пересиявшее собственный луч; я новое в восхожденьи.

Осам своим и змеям с золотыми телами, я исцелю им вырванные жала, — и красота, и любовь, и свет, и погибель больше не будут страдать. Я разрешу всякое начало, и каждый вдох восполнится от меня, и каждый взгляд раскроется мною в бесконечность миров.

Сегодня мой свет свободен, ему больше не нужен постылый источник: я стала им, как башней становится восхожденье.

Fortune plango vulnera

Последние слова звучали ещё, когда проснулся, открыл глаза:

— Как я хотел обнять тебя там, в Сахаре! Раненые дети прекрасны.

Тонкий бессмысленный золотой ободок вокруг шеи, — всего смешнее, что на замочке: щёлк — и готово, — а ты зачем-то называла его судьбой, нежно проводила пальцами, любовалась. Потом — какой-то столетний вихрь, чёрный и золотой, и будто в стоге песка, в его бесстрастном соцветье жуткий проблеск лица твоего и фигуры, лишь контур руки был протянут ко мне, а рука твоя неподвижна, и этот обветренный страх во взгляде, словно прощалась ты не со мной, а с мириадами тех миров, что были вызваны нами к существованию против их собственных воль. Ты их отпускала — и не сказать, чтобы в неизвестность, напротив — всё было известно заранее, но от того не менее безжизненным было то вечное одиночество, которому они в одночасье стали обязаны.

Что было потом, я не помню. Горький запах воды, скрип, рыдание, гул железа, сиротливо брошенного в саднящей пустоте, постаревший от ужаса воздух, льнущий к пальцам свалявшейся, липкой шерстью. Голос, рубящий кусками пространство, как вялую тушу, но тоже стёршийся в мыльную грязь, по которой с лязгом молотит беззвёздный станок творения.

Войдя в комнату, вдруг впервые осознал, как много нас было. Каждого поимённо, но за каждым, кроме имени, стояло то безбрежное море, где все потеряны, где имя тяжело, а золотой ободок на шее — всего лишь досаждающая деталь всеобщной равнозначности. Ты же не стёрлась из памяти — почему? Я видел, как ты улыбнулась и протянула руки из постели, видел отметины моря на твоих губах, сердце моё билось одною потерей, и только. Раненые дети были прекрасны. Кого бы удивило, что слова, обращённые к тебе, звучали по-португальски? Судьба сомкнула свои ладони на той стороне земли.

Визит в страну вопящих

Всю неделю, оставшуюся до окончания отпуска, я искал заброшенные жилища в окрестностях нашей дачи и, видите ли, я находил их. Тут дело в том, по приколу сказать, что наша дача не входит учётной какой-нибудь единицей в, скажем, дачный посёлок или, как это принято, товарищество, — знаем мы этих товарищей, видали. А было

вот что. Тут же раньше, то есть тасскать, город был. Ну, как город — жили. А потом его кое-кто оставил, и он рассохся, и — но только частично — ушёл под землю, если, конечно, это именно так называется.

Руины, я понимаю. Подходишь незаметно, как будто бы крадясь, как будто бы на охоте в облаве, в тайном месте каком-нибудь, волна травы под незапным ветром ухает в подбородок, а потом раз — слизнёт порывом сухие веточки с дерева, и они так тонко зависают на мгновенье в таком ярком таком болезненном таком жёлто-сером таком небе. Самоад, самоужас — любить эти незнакомые мгновенья, и я люблю их. А потом из травы, как из рвоты, выступает огрызок какого-нибудь внушительной серости зданья, и смотришь на него, и смотришь, и думаешь: было двадцать пять этажей настоящей такой, дармовой жизни, а остался я один, и паспорт у меня меняный, и денег нету. А если денег нет, всё позволено, даже я.

Иной раз встречаешь и человека. Вот, к примеру, возьмём меня: стоял вторник, и я это хорошо для себя запомнил, ну, как запомнил — усёк, и, опять же, я пробирался мимо четырёх холмов, во-он к югу отсюда, а уже вечер был, вечерело, то есть, и ветер. Слышу, ветер такой, как будто бы он не дует, ну, хоть бы исподтишка там, не знаю, — так вот, не дует он, а просто сверху, как сволочь какая-нибудь, падает, парашютист, бля. Я, признаюсь откровенно, такой ветер не люблю, а тут ещё и вечер такой, понимаете ль, выдался, как будто бы он на выданье, но весь такой, тасскать, скособоченный, и никто его такого не берёт, никому он значит такой не нужен. Ну, никому, и мне, значит, тоже, но у меня положение такое, я тогда измёрз под этим ветром весь такой и думал, что никогда уже мимо тех четырёх холмов не пройду, к пятому, а там и дом. Ну, и пожалел я, а как не пожалеешь? Нет, ничто конкретно, а — ну, как сказать, само мироздание пожалел. Жалко его, одно оно на всём белом свете. Ладно, чойто я…

И вот, стало быть, там растение одно росло, чинара. Я, то есть, понятия не имею, что это за растение, может, ковыль, но как я взглянул на него первый раз, так сразу и уразумел, что чинара это и ништо иное. И я моментально подошёл к ней, чтобы взглянуть, какой из тех четырёх холмов пятый (а там дом), бо с-под неё, конечно, лучше видно, а видно мне стало совсем не то, а, собственно, ноги. Там, получается, человек сгорел. Нет, ну сгорел — это так, метафора, а он просто лежит в высокой траве, длиной аж до самого горизонта, и зырит в небо, ну, как простой чинарик. Я только не сразу это понял, сначала подумал: что он за дьявол, сгорел, не сгорел — а лежит, глазами небесный октаэдр буровит. Но не сразу — не сразу! — потому что пока от ног его до морды добрёл,

а там километра два будет, не меньше, так уже и ветер утих, как-то штоли по-человечески дуть стал, и вечер тоже, замечу, притих, и наступило утро.

Утром же за головою чинарика начинался спуск вниз, откуда восходило солнце, и я спускался к нему, и понимал спиною, что спускаюсь с того самого пятого холма, где дом, где, по правде сказать, все как дома, а что же было впереди. ?. А впереди, изволю-ка я заметить, широкая и прямая дорога блестела от меня и вон до конечного солнца, мерцая словно только что выложенным асфальтом, каждой острой, тасскать, гранью своего безымянного, тасскать, вещества. По правую же руку от неё, и по левую, короче, по любую от неё руку мало ли что, возможно, что ничего и не было, я не стал бы вообще на то обращать внимание, оставляя это как бы поучительным тёмным пятном своей биографии, каковым оно и осталось. Это — к слову. Итак.

Я сказал, что солнце восходило, но это же ясный перец, что ложь. Вернее было бы сказать, что оно стояло на месте, удивляюсь, почему я этого не сделал раньше. Но, приближаясь к нему (а я шёл, как редко кто отваживается, прямо посередине дороги, настолько посередине, что оставлял без внимания всё, что творилось по любую из возможных рук от неё), я отмечал в сердце своём, что солнце значительно увеличивалось в размере, ну, как в размере — в диаметре, не сходя со своего места по праву небесных тел. Это важно, я говорю об этом, как иное иным и не снилось. Итак.

Услышал я пение и пошёл я на звук. А идти-то больше было и некуда, не возвращаться же, в самом-то деле, что за глупости, ещё никто ниоткуда ведь никуда не возвращался. Солнце уже стало тогда таким большим, что занимало сверх половины горизонта, и, надо признаться, это не солнце уже было, в общепринятом смысле, если позволите, а просто само небо сияло и излучало какой-то свет, в котором, откровенно говоря, я не то чтобы очень сильно и нуждался. Да что там — за-дра-ло! Честно. Я и раньше его не шибко того, а сейчас вот просто взял бы и грохнул, подвернись чем. Можно ли сказать, что утро, едва начавшись, тотчас перешло в ту стадию, когда всем пора уже всерьёз об нём задуматься? Можно, и это ещё природная мягкость русской речи не позволяет высказаться, тасскать, прицельней. А пение было всё громче и всё жутче, и всё чётче осознавал я на слух, что не песня это, а какой-то природный, надеюсь, вой, а может быть, это далекий близящийся лай, или это солнцеподобный воздушный ор, как бы гимн приближающихся комет, или молитва того, чего нет, о том, почему его нет, или птичья смерть, послушная выстрелу в тёмное темя, или ближний свет, от которого все умрут, а я не умру со всеми. И так.

В детстве, хотелось бы лирически отступить, у меня был календарик «Силуэт Ленинграда» за восемьдесят восьмой, чтобы не сказать лишнего, год. Снизу на нём изображена была чорная смерть, а сверху, соответственно, белая смерть, и в ограничье между ними вечно и бессловесно проходил тот самый, восемьдесят восьмой, — а уж год, человек или троллейбус, так это не мне судить, есть специалисты. Там жили люди — чёрные на чёрном и белые на белом, их дни шли по кругу и заключались в том, чтобы не дай бог не изменить очертания собственной всеобщной смерти, которой они, извините, и жили. И почему я вспомнил об этом своём имуществе сейчас заключалось вовсе не в том, что смерть приблизилась ко мне своею сияющей алмазною бровкой, нет, — если и была со мною смерть, то я давно уж оставил её за пожатием плеч, там, где всё утихает под ветром, валящимся сверху на пустые руины холмов: почему это было, скорее, в том, что как огонь окружает землю и оттого ещё нежнее плывёт земля в его бездонном распаде, века и века по совершенному кругу, и только раз в миллионы лет, говорят, её удачливые жители увидят на горизонте ту новую, что завершит их, казавшееся напрасным скитанье, так и меня в тот момент окружил этот воздушный, прочернённый, рассекающий воплями бессмертные пламенеющие своды неба город, чьё имя состояло из всего лишь одной, но безупречно продолженной гласной, город, где тень отбрасывала вовне тела равнодушных и пахнущих свежей рыбой ангелов.

Но вот, я вошёл в него, и он схлопнулся за мной, как свёрнутая в подзорную трубу школьная тетрадь.

На мраморном бордюре небольшого одноструйного фонтана из сгустка крика возник удильщик, он сидел, поджав ноги, укутанный в тёмный, зеленоватого оттенка плащ, и время от времени с подхрипом вскрикивал, смешно дёргая удочку.

— Что вы здесь бродите ни свет ни заря? — сказал он мне сквозь непроизвольно сжимающиеся губы.

— Ну почему же, — спросил я в ответ, — как раз-таки и свет, и заря. И даже много больше.

— Что больше, нет ничего больше, — проговорил удильщик, едва сдерживая крик. Затем он всё же прорвался, отрывистый и жаркий, рушась в кристальную, прозрачную до дна воду. — Идите отсюда, всю рыбу спугнёте.

Я оказался на площади, полуокружённой подковою невысокого здания с выдвинутой наперёд колоннадой, за ним возвышались дома уже очевидно жилого вида, в которых кое-где уже горели окна, в то время как общая потьма сумерек обрушившаяся на меня, когда я вошёл

в город, казалось, и не предполагала, и не из чего ей было предполагать рассеяться. Но город передо мною не просто был тёмен, он ещё и дышал ровным шумом страдальческих криков, стенаний и шорохов, их долгий хор, как живая плоть под тонкой, призатянувшейся кожицей раны, с тоскливой угрозой ныл впереди; иногда, как разрывающая пелену отупения игла срезанного нерва, из ровного гула моего слуха касался один лишь отдельный крик, и, всматриваясь в его очертания, я уже различал серьёзное, содрогающееся лицо солиста, чья жизнь на несколько мгновений зависала, искрясь, над бездной тёмного мира, быть может, лишь в этом ослепительном пике оглядывая всю мощь творца и всё величие его творения.

«О соле, — думал я, вслушиваясь в рулады невынесенной боли, — о соле мио! Солнечный город, вот ты встаёшь из ниоткуда своим кружным силуэтом прямо в лицо утомившемуся в испытании жизни путнику — и в его бесполезный мозг вливается распалённое варево музыки этих сфер, он, получается, не путник уже, он пришёл, он на месте, он дома. Вот, затем, ты приснишься под утро пятнадцатилетней девочке, в её тонкой и жаркой постели развернёшь холод и блеск своих статуй, фонтанов и площадей, — ну и какая же она спросонья теперь девочка? Она женщина, она мать, она ответственный работник, у неё артрит, какие её годы, ей ещё жить и жить и на её улице тоже будет праздник. А после, вот, в аду, в Ярославле, на автовокзале тебя объявят к посадке на белый, урчащий горячей резиной пазик — и те, кто никуда вроде бы не собирался, все провожающие, все троюродные братья, тётки и соседи с машиной, все местные, все, кого знает в лицо милиция, с кем она пьёт, чью картошку копает по воскресеньям за два мешка на зиму, все они, как один, пусть и мёртвый, человек, соберутся, сойдутся с открытым, повторяюсь, челом к дверям автобуса и, рассчитавшись с водителем, усядутся внутрь — долгие сонные тени тебя, невозвращенцы и беженцы, те, кого нет больше с нами, кто в море, кто не приедет на новом джипе, о ком, стало быть, ничего, — те, кому там почему-либо лучше, чем здесь, хотя везде и всё одинаково, о солнечный город, ты знаешь, о чем я говорю».

Живая рыба. Ну, как живая — в продаже. У синей колёсной бочки, держась за неё рукой, стоит высокая женщина лет сорока и громко стонет, вздрагивая всем телом. Затем, всё так же поддерживая себя рукой, она приподнимает заднюю крышку бочки и, вынув оттуда складную табуреточку, разворачивает, садится на неё и начинает тихонько подвывать, закрыв лицо руками. Я подхожу к ней и становлюсь рядом, слежу за её качаниями в такт стону. Наконец, когда по ближайшей её руке пробегает видимый спазм, от которого

судорожно сжимаются и разжимаются её пальцы, я осторожно трогаю её ладонью за плечо.

— Восемь двадцать кило, — спрашивает она машинально, поворачивая лицо с измождёнными глазами ко мне. — Скидок не делаем.

У неё очень красивый тембр голоса, рокочущий, бархатный, с какой-то неуловимой гортанной излучинкой на конце фразы.

— Вам больно? — говорю я, сверху заглядывая ей в лицо.

— Ну, понятно же, — спрашивает она. — Вы так говорите, будто это новость какая-то. Рыбу берём или нет?

— Ну, не новость, допустим, — продолжаю я. — Но что же вы тогда здесь делаете?

— Блин, я рыбу продаю, — её красивое лицо, перечёркнутое двумя глубокими морщинами внизу щёк, искажается гримасой от очередного спазма. — Свежая, ночная, берите, — спрашивает она сдавленным полушёпотом, борясь с болью.

— Бросьте вы рыбу, вам же помощь нужна.

— Вы что, с луны свалились?

— Да, с луны, — говорю я. — Расскажите, почему вы от помощи отказываетесь. У вас же страшные боли, я же вижу.

— Да какая помощь, о чём вы вообще?

— То есть, это, по-вашему, нормально?

— Что «нормально»?

— Мучиться, страдать, корчиться от боли, постоянно, при этом ещё какой-то вонючей рыбой торговать.

— Рыба свежая, ночью наловили.

— Нормально?

— Ну, блин. Конечно, нормально. Как дышать.

— Как дышать?

— Как дышать, — и тут же она хрипит от острого короткого приступа. — Человек рождается на мучения. Здесь, всегда. И всю жизнь дальше проводит в постоянной боли жизни. Как-то смешно даже говорить об этом, элементарные же вещи.

— А что болит-то, у вас конкретно?

— В смысле? Откуда мне знать — всё болит. Воздух болит, земля, свет и тень, сама жизнь болит невыносимо, — я болит. Ну, вот как это объяснить? Сами что, не чувствуете, не понимаете, что ли?

Вдалеке, через улицу, мимо высокой арки красновато-серого кирпичного дома слышатся ужасающие крики в ещё тоскливо-глухом

утреннем воздухе. Я поднимаю глаза и вижу, как, лёжа и дёргаясь на земле, истошно визжит ребёнок, в то время как женщина, склоняясь над ним, пытается не то унять его, не то просто силой поставить на ноги. Рядом стоит другой, чуть меньше первого, и в ощущаемом отсюда оцепенении переступает с ноги на ногу, как деревянная кукла.

— А эти? — говорю я тихо. — Их-то куда?

— В школу, наверное, — спрашивает торговка рыбой. — Утро, сейчас и другие пойдут.

Я снова поворачиваю к ней голову, гляжу немного сверху. Она высока и, даже сидя на низком табурете, вполне сравнима со мною в росте.

— Но если жизнь — мученье для всех и неотложимо, если нет возможности избавить себя и других от этой боли, почему же вы тут все не переубиваете себя и своих близких? Разве смерть не прекратит ваши страданья, чего вы ждёте?

— Какая смерть?

Смотрят на меня её синие глаза — один синий, а другой чёрный, как будто в нём плещется рыбка с чёрной блестящей спиною, но вот, нырнула — и тут же выныривает в другом, и теперь уже тот чёрный, а прежний синее синего неба, которого здесь никогда и никто не видел.

— Какие странные у вас представления о жизни, — спрашивает она, заинтересованно меня разглядывая. — Смерть, мучение, помощь — всё какая-то неизвестность. Да и сами вы странный, точно с луны. А что касается смерти, то её, конечно, нет. Всё — бессмертное.

Людей на улице становится больше, они отмечают своим присутствием начало дня, хотя я и не могу понять, чем он отличается от ночи. Многие идут на работу или, как та, ведут детей по школам и садикам, и нередко жгучее страдание перекрывает механическую заведённость жизни и человек останавливается посреди улицы, кричит и стонет, не справившись с болью, и людской поток вежливо и привычно обходит его с двух сторон. Их становится всё больше, этих криков, они наконец из ночного гула превращаются в громкий, славящий начало нового дня ансамбль, в котором мне чудится удивительная, манящая ритмика, словно бы этими криками управляет могущественный дирижёр, как сердце, а сами они растекаются подобно крови по телу некоего всеобщего существа, питая бесконечным страданием его бесконечную жизнь. Я поднимаю голову и вижу его, стоящего надо мною в зените, как солнце и другие звёзды.

Чуть позже я сижу под отдалённым мостом на горячем камне и гляжу на воду и густую поросль прибрежного камыша и осоки. Здесь уже нет

людей, а звон цикад и мошкары, пенье лягушек и птиц заглушает далёкие вопли города-солнца. Здесь спокойное безразличие природы к собственному страданию оставляет мне место для того, чтобы убрать из сердца великое влечение, которое привело меня к этим местам, кружение света и тьмы, их необъяснимый и крадущий всё живое танец. Моё сердце стучит в том самом, заворожённом ритме, и протяжная боль, как луч, вырывается из него и кружит по тёмному небу, ища уже известно какого приюта. Вода тоже течёт по кругу передо мной и не скрывает в себе никакой тайны. Без зависти я смотрю и на камыш.

А после, переменившись доро́гой, я поднимаю взгляд вверх и замечаю на вершине четырёх ближайших холмов огромного человека. Дорога подо мною блестит наотмашь какою-то мелкозернистой породой, размывая границы длинной, почти бесформенной тени, лежащей вперёд от моих ног, а сверху сквозь серое небо наплывает на меня уступ дальнего дачного вечера, и кряжистый ветер ломится вниз, как пьяный в несправедливо закрытые двери магазина.

Двухкилометровая дылда чинарик неуверенно стоит на холме, покачиваясь на тонких обгоревших ногах, и приветливо машет мне сверху головой, заранее сняв её с худых, почти не приметных плечей.

— О, привет, — кричит он мне, — привет!

— Эхей! — кричу я ему в ответ, взмахивая рукой на ходу.

— Привет! — кричит он снова. — Сколько же лет прошло? Привет, о привет!

— Эхей, эхей! — кричу я в ответ.

А кроме того, я не знаю ни сколько лет прошло с тех пор, как я спустился с этих холмов, ни закончился ли мой отпуск и не пора ли уж снова мне выходить на работу. Ничего я этого не знаю, и не знаю, кто сможет всё это сосчитать.

— Привет! — снова кричит мне сверху мой погорелец, отчаянно взмахивая головой так, что она морщится от потоков вертикального ветра. — Привет! — кричит он. — Я сосчитаю!

— А я умру! — неустанно маша рукой, кричу я ему в ответ.

И вся нежность мира страстно, порывисто, жадно обнимает нас обоих, прижимает к себе так долго и так волшебно, и держит, и держит нас.

Сныль

В зелёное въехать было легко, на удивленье, даже легче, чем продираться сквозь горячий сланцевый воздух. С этими его шепотками, чугунными взглядами, утробным каким-то, отменно мерзким хохотом в спину. Ба, что же это я! Никогда ведь не умел ездить на велосипеде. Падать — да, это всегда пожалуйста, это мы мастера. А вот же — еду. Когда лист налетает, готовишься, думаешь. Думаешь, скользнёт так ласково по щеке. А из-под него вдруг ветка — хрясь, по лицу, по глазам, до зубовной скулящей боли. Очень тесно, надо заметить, стоят дома. У нас по деревням такое не принято. Ну, чё вылупился? У, ррожа вахлачья! У нас улица должна быть широкой, чтоб. Чтоб, когда наводненье, вода меленько шла и граждане не тонули разиня рты. Хотя, чёрт их разберёт. Всё равно же тонуть будут назло архитектуре. Да, да, в магазин, по ириски! В магазине этом раньше. Помню, таким хлебом торговали: его, значит, в руки берёшь. А он сам причмокивает. И не поймёшь сразу, то ли съесть его, то ли, это. Сигареткой угостить. А, чёрт! Ветки… Вот деревья почему-то не любят людей и вечно норовят их угробить. Хотя. В чём-то я их понимаю. Другое дело — трава. Трава людей любит и охотно по ним растёт. И, однако, какая узкая улица мне выпала: вот так если поднять руки с велосипедного руля да расставить. Ру-ки-крю-ки. То можно барабанить пальцами по окнам домов, или кошек гладить, или трясти ромашки в палисаднике, — всё можно. Было бы чем. А то, говорят, в соседней деревне на первомай един муж злоречивый вышел на позор руками махать. Так тут же выскочили из лесу с топорами да порубили к едрене матери. Ни рук не осталось, ничего. Ни деревни. Одна лужа с поплавками, и нифига. Нифига не клюет, даже на медведку, айй-й! Во-от, значит, в гору пошла, да с камешками. Веселей, то есть. Многие люди, если воспользоваться этим скомпрометировавшим себя термином, думают. Думают, что если вдруг? Что если вдруг, паче чаянья, хоть раз в жизни они помрут, то смерть этим ограничится и всё у них потом будет. Всё потом будет тип-топ, как в сказке. Ну што я вам скажу по этому поводу? Во-первых, покажите мне хоть одну сказку, где всё тип-топ. Тем более у людей. Во-вторых, из того, что мы знаем о смерти, вовсе не следует. Того. Того, что она о нас думает. Вовсе не следует думать. Из того, что мы знаем, она-то и следует. Чтобы думать за нами, чтобы. Чтобы за нами подъедать. Не, сынка, ты сначала спеки пирожок, чтобы я его слопал. Смотри: Тварь хмурая как день стоокий. Дрожит от каждого куста. Белеет парус одинокий. Земля безвидна и пуста. Скажи, котик, чем ты думаешь о смерти, и я скажу. И я скажу, кто ты. Ну. Да. Ничего. Жители этой деревни схвачены каким-то зелёным. Зелёным каким-то ознобом. Дрожат на ветру, под ветром, как ветер, дрожат, как флаг на остывшем ветру, дрожат, плачут, бранятся, их ветер носит, они прекрасны, они

мертвы, их бы снять бы в рапиде, как пулю, как флаг, просевший в открытое утро, в эту тьму на дрожащем ветру, на этой луне. Когда они все возьмутся, кто-то из нас. Кто-то должен быть оставлен, чтобы снять всё это в рапиде, кто куда. Я собсно в магазин у меня тут список я занятой человек мне тристатридцать лет и это только в одну сторону. И это только кто-то из нас. Брыссь сс-под колессса! Поразводили мертвяков, проехать нельзя, никакой культуры. Значит, как оно, значит, бывает: бывает, собьёшь одного. Насмерть или ещё как-нибудь половчее. Так он же потом месяц на тебя волком глядит. Глядит, дескать, что же ты, значит, наделал. И не скажешь ведь, что. Что, мол, Пушкину, что ли, было сказано: не суйся, значит, не лезь. Не лезь! Умер — не лезь. Золотое же правило, так нет — лезут. Вон сколько на площадь повылезло. Не протолкнуться, не выжить, не слушать, не понимать, не успеть, не протиснуться, не разглядеть ни лица, ни спины, ни души, ни земли, ничего. Ничего, как-нибудь всё же проеду. Ни следа, ни руки, ничего. Но как-нибудь всё же. Ни меня, никого, ни. Но как-нибудь всё. Там, под крышей зелёной, ослепительно серый мой магазин стоит, как ни в чём не бывало. Как поставили, так и стоит, от самого что ни на есть скончания века. Один на всей бесполезной земле. Но ни души, ни земли, ничего вокруг больше и нету, а там, внутри. Там, под зелёной крышей, от скончания века со страшной силой торгуют божественным разнохламьем, и никто, никто не может этому воспротивиться. А огромные серые хлебные головы, как китайские мудрецы, сидят по полкам вдоль стен и внимательно смотрят. Смотрят за тем, чтобы что? Чтобы правильно шла торговля, чтобы по расписанию, вот зачем смотрят, чтобы ни на минуту не останавливалась, не покрывалась ни светом, ни тьмой, не свернула бы за угол, не оборачивалась, услышав молчаливо носящийся в зелени воздуха вопрос, о, который же час, ибо час был довольно ранний. Час *(но на самом-то деле всем ясно, что речь идёт[1)] о ослепительно ясных веках)*, когда этих магазинов по вселенной было больше, чем звёзд, и крыши их были не зелены, а пламенеющего золота, яхонта и халколивана. Не говори мне, котик, что в халколиване случился переворот. Что убили халколиванского президента, я этого слушать не стану, а второго такого уж не найти взамен. Не говори мне об этом: я думаю выжить даже и в эту посмертную рань. И о чём толпятся разумные мертвецы на зелёной площади. И кого высматривают китайские хлебные головы в тихой прохладной тьме магазинного обморока. И кому поёт вода в хозяйской луже среди скучных окраин. И что за флаг ерошится в этом подробном небе. И умер ли кто из живых. Чьё ли счастье разведано. Чья ли земля завершила круг. — Я этого знать не хочу, я не за этим, пустое. Не берите в голову, вот, у меня тут список. Чтобы не ошибиться, а то ведь бывает, кому

потом докажешь. И тут же хлёсткий удар в спину разворачивает меня обратно, ко входу. У ног моих в маленьком черном мешочке топорщится сухая куриная лапка, а та, кто пустым мешочком сидит у входа, низко опустив голову, молчаливо и твёрдо убеждает меня в том, что я получил ровно то, что хотел. Что другого не бывает. Что другое — это я сам, и другому не быть. Я подхожу к ней и беру её обеими руками за голову. Я подхожу к ней, я заглядываю ей в лицо. Но лицо её далеко отсюда.

[1)] Но на самом деле понятно, что речь не идёт, а звучит.
А, нет, кончилась.

Тотенбург

…
Жизнь мёртвых — явление столь же величественное пусть даже в заведомо ограниченных нами масштабах, сколь и поучительное. Остатки некогда разрушенного у нас, подобно тени, отбрасываемой нами в воскресный солнечный день, во время прогулки вдоль набережной или при пересечении площади, ещё не запруженной толкущимися возле палаток покупателями наших безделиц. Удивительным образом то, что справедливо считается нами рассеянным в несуществовании, вдруг становится для мёртвых главной и безупречной ценностью: они живут ею, они жаждут её, весь их мир состоит из того, что мельче пустоты, и только этим и держится. Города мёртвых всегда обращены к нам обратною стороной, и мы входим в их дома так, как если бы каждый наш шаг был сравним с извержением целой планеты.
…

…
Мельчайшие, они живут в провалах нашей памяти, но было бы странно думать, будто их minority никогда не вторгается в наши жизни без того, чтобы быть замеченным. Вы, должно быть, сидели однажды вечером с девушкой за столиком открытого кафе и глазели на то, как солнце, садясь, обливает блеском наклонный вал улицы, высвечивая вдавленные в асфальт осколки бутылок, мелкие, отполированные тысячей подошв камни, распахнутые стёкла низеньких окон и потёки воды из-под мороженной коляски. «Юлия», предположим, сказали Вы девушке. «Скоро стемнеет. Ты остаёшься?» Не бросился ли Вам в

глаза тогда, едва Вы взглянули в лицо своей Юлии, этот необыкновенный отблеск, мелькнувший на её подбородке, зеленовато-алый, как будто бы свет, падавший ей на лицо, внезапно проскользнул сквозь быстро вращающуюся прозрачную призму? И потом, когда Юлия взяла стакан с оставшимся уже на дне молочным коктейлем, он словно бы брызнул прямо у неё в руке, хотя даже сверхнапряжение её мускулов не смогло бы преодолеть сопротивление толстого стекла так, чтобы оно разлетелось на столь мелкие осколки. Ей, между прочим, повезёт в том, что осколки мелкие: иначе ладонь могла бы быть разрезана насквозь, а так дело обойдётся лишь обильною кровью и двухнедельной повязкой, и всё. И всё.

…

…

Виденный однажды мною лютеранский пастор, молодой, подвижный и стеснительно-насмешливый человек, говорил, наклонясь ко мне и прикрывая лицо катехизисом Лютера: «Они такие шумные. Ужас просто». О мёртвых он знал из книжек и относился к ним с осторожным протестантским доверием. Мы разговорились о боге, о котором пастор имел мнение самое деликатное. Он краснел и, засунув руку в карман, неловким движением оттопыривал брюки пальцами, отводя взгляд в сторону. Это происходило в полутёмном зале дворца культуры, полностью занятом одним огромным дубовым столом, за дверями же соседнего помещения то и дело раздавались выкрики, шарканье ног и грохот передвигаемых стульев. «Ужас до чего шумные», не уставал с полуулыбкой повторять пастор, деланно морщась. В конце концов, он подарил мне лютеровский катехизис на украинском языке в красно-белом дешёвом переплёте, и быстрым шагом, длинный и нескладный, двинулся по тёмному коридору. Тем временем из дверей соседнего зала по одному выходили живые, с красным от возбуждения лицом, что-то кричали в просвет двери, которой затем же с силой и хлопали. Затем они хватались руками за крупные, как репа, красные головы и, вздохнув всей грудью, взрывались прямо здесь же, у длинного стола, оставляя в тёмном воздухе малиновое, едва светящееся облачко. Из-за открытого в дальней стороне зала окна, выходящего на задний двор, раздавался сумасшедший щебет воробьёв, сплошь облепивших крупной стаей кусты садовой сирени.

…

…

Обычно линзы мёртвых миров располагают по отношению к нашему так, чтобы гипотетический наблюдатель, выйдя из кафе покурить и дать роздых глазам, не стал бы невольным свидетелем их многообразной

жизни, а вместе с тем чтобы и они не столкнулись с нашим и не возгорелись бы к нему любопытством. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что мёртвые — это не те, кто некогда умер здесь, а те, кто вечно живёт там, и посему любопытство к нашему миру с их стороны естественно и постоянно. Делают же это вовсе не с целью оградить или пресечь, как может подумать привыкший к предсмертным нравам гипотетический наблюдатель, а из экономии и по инженерной надобности. И всё же время от времени обнаруживается, что зазор между нами слегка скошен и линза ближнего мёртвого мира начинает свой непредсказуемый танец в теле этого, положенного нам существования. Гипотетический наблюдатель, отбросив в сторону зажжённую сигарету, внимательно и сосредоточенно блюёт на асфальт, потемневшее небо испещряют упругие морщинки, оно сжимается и тянется, как шагрень, здание земельного банка осыпается горой мелкого песка в два мгновения, автомобили с ужасающим скрипом, царапая и сминая друг друга, разъезжаются в стороны от разошедшейся посреди проспекта ямы, мы наблюдаем за развитием событий в молчании, свидетельствующем о нашем неподдельном интересе, воздух звенит, стекленеет, как будто переполненный мириадами комаров, в парке под липами, близко к нам, останавливается небольшой отряд римских конных преторианцев, огромный военный дирижабль медленно врезается в здание университета, которое вспыхивает пожаром, отлично отсюда заметным, обнажённый месяц всё-таки всходит при лазоревой луне, мы отмечаем это со знанием дела и с некоторой удовлетворенностью. Всё, впрочем, скоро заканчивается, мёртвый мир возвращается в положенную ему точку либрации, а через пару дней официально объявят, что ущерб был сравнительно невелик, а паника ничем не оправдана. И в самом деле, на восстановление разрушений из муниципального бюджета, по прогнозам, уйдёт не более 90 тысяч гривен, и всё. И всё.

…

…

Среди прочего одна автобусная линия, угловато огибающая полгорода с юга и запада, привлекает внимание интересующихся следующей спецификой. Существует способ сесть на автобус в районе Нетеченской примерно около трёх часов пополудни, точнее вам никто не скажет, дело во многом решается везением. Речь, разумеется, идет о светлой половине года, тёмная же и нечистая не должна занимать ваше время и силы. Оплату проезда у водителя производить не стоит и вообще никому ничего не нужно давать, деньги вам понадобятся на обратную дорогу. Вступать в разговоры с окружающими, тем более — в споры о мнениях, крайне не рекомендуется, были, знаете ли, прецеденты, лучше не надо. Главное

запомните: всё сущее — только ваш попутчик и ничем не может более быть полезным. Примерно пару часов пройдёт, прежде чем автобус, совершив надлежащий круг по городу, покинет его черту и поедет по загородной трассе. С этого момента он не будет делать ни одной остановки до места назначения. Минут через тридцать—сорок он свернёт с трассы на просёлочную дорогу и проедет между высокими сосновыми посадками ещё десять минут. В конце дорога выведет на широкую площадку, где автобус сделает круг и остановится возле полуразваленной железной остановки. Пропустите всех, кто ехал вместе с вами, вперёд, выходите из салона последним. Люди пойдут вправо, не ваше дело, куда и зачем, вам же следует оставаться некоторое время на месте. Покрутитесь рядом с автобусом, зайдите под железный козырёк остановки и ждите там, пока автобус не уедет, а народ не скроется совершенно из вашего поля зрения. Слева, метрах в ста от остановки, находится деревянный колодец с крышей, невысокий и весьма неухоженный. Доберитесь до него, а дальше двигайтесь вдоль живого забора из плотно сросшихся кустов калины. Дорога будет идти немного в гору, но недолго, а затем кусты исчезнут и вы окажетесь на относительно небольшой и тихой полянке: справа от вас будет продолжаться холм, покрытый неопределённого вида растительностью, а слева, чуть поодаль, вы увидите край соснового бора, тёмного и глубокого, чьи деревья превосходят высотою все ваши представления. Здесь очень тихо, здесь нет ни шелеста листьев, ни вечного гула насекомых, ничего. Ложбинка между холмом и соснами приоткрыта, за нею видно, как земля понижается, исчезает в тумане и тишине. Это последний вечер мира живых, и если причувствоваться к тому, что стоит перед вами, то можно в конце концов разглядеть некоторые черты близлежащего мёртвого мира так, как если бы вы и в самом деле там побывали. Впрочем, специфика совсем не в этом, а в том, что по прошествии некоторого времени, пока длится ваше созерцание, вы начинаете понимать, что не только мир живых и не единственно мир мёртвых имеют собственное основание в том, чтобы быть, но что и тот, едва касающийся нас промежуток реальности, который мы со всем небрежением называем *переходом*, существует полноценно и возвышается над обеими странами доступной нам жизни. Поняв это и усвоив на будущее, вы можете возвращаться прежней дорогой к остановке, и, если вам повезёт, вы успеете на автобус, направляющийся в вечерний и спящий уже город.

…

…

В конечном счете Юлию откачают. Она будет лежать, уже выписанная из больницы, но ещё частично перебинтованная, на синей кровати, в квартире, залитой светом и стрижиными воплями. Утром к ней зайдёт тётка и примется долго и бессмысленно рассказывать о том, как в её

доме ремонтируют систему отопления. Затем подтянется брат всем воскресным семейством, но эти скоро ретируются, видя, что Юлия не отвечает на попытки сделать её счастливее. Для этого её нужно заново обучать тому, что есть жизнь, что она состоит из встреч, вещей и желаний, что с людьми можно говорить, птиц надо слушать, а к деревьям прикасаться только руками. Но как и зачем снова вливать створоженную до простейших реакций жизнь в этот выскобленный подчистую сосуд, ради чего? Она лежит и смотрит на синее, верещащее птицами небо с таким божественным всеприятием, какое даже и не примечталось бы ей до того мгновенья, когда невысокий купол манежа лопнул над её головой и тысячи мельчайших стеклянных игл вонзились в неё, разрывая кожу, мышцы, нервы. Наполовину полный, наполовину пустой, — нет, не скажите, разница огромна, бесконечна. Особенно когда приходится решать, полностью ли сосуд полон или напротив — пуст под завязку. Города мёртвых прорастают сквозь жалкое тело Юлии куполами и шпилями самой причудливой формы.

…

…

Высоко на стене, над кафедрой, с каких — не ясно ещё времён висят механические часы, в которых секундная стрелка начинает как-то жалобно повизгивать, пробегая последнюю четверть круга. Я уже много лет назад заметил за ней эту вольность, и вот, вижу, с тех пор ничего не изменилось. Но это на стене, а в самом зале творится чёрт-те что. Сломанные стулья, груды сваленных на паркет и затоптанных бумаг, поваленная и разбитая гипсовая статуя уже не разобрать какого деятеля, науки или искусства, разломанный надвое стенд с детскими рисунками, хрустящие под ботинками осколки графина, не то просто бутылки, чей-то пиджак с надорванным рукавом, опять же — бутылки, но пластиковые, смятые столь же безжалостной пятой. Я поднимаю голову и замечаю под потолком тоненький язычок тёмно-малинового оттенка дыма: вытяжка в старом доме работает странно, ненадёжно. Белая, но исключительно грязная кошка сидит за окном на кирпичном парапете и неряшливым взглядом посматривает на меня. Я подхожу к окну и, пока она на полусогнутых лапах утекает от опасности в моём лице, дёргаю створки и с небольшим усилием раскрываю окно. Воздух ударяет в меня напряжённой тяжестью, как будто предгрозовой, хотя и светло повсюду. Я выбираюсь через окно наружу, во внутренний дворик, обсаженный кустами не так давно отцветшей сирени. Они тихи и не шелохнутся в безветрии. Через двор и арку я выхожу на проспект: людей нигде нет, ни людей, ни машин, вся улица пуста насквозь и сияет гранёным асфальтом, горбатясь там, в перспективе. Я никогда не вернусь домой. Она так и уснула, не закрывая стекленеющих глаз,

в которых жизнь отражалась нетронутой, бесчеловечной, какой она и была между нами. Невольно я смотрю наверх, в остановленное над городом небо, и вижу, как, накренившись под небывалым углом, надо мною лежит полупрозрачная чёрная линза, сквозь которую дальний мир никогда не живших лучится ярко и страстно. Но уже просыпается, как от внезапного обморока, город, уже распахивают на верхних этажах просветлевшие окна, уже пролетает по запустелой улице гаишная «десятка», взрывая воздух сиреной, и рядом с почтой вновь раскладывается торговец мобильных карточек в дурном жёлтом переднике. Пройдёт каких-нибудь полчаса, и всё опять примется за своё обычное верчение, и в поднявшейся наново пыли существования ты не отыщешь ни памяти, ни судьбы, ни имени своего. Пройдёт полчаса, и всё станет прежним. Совершенно всё.
…

Сурков

Ночью в поле, далеко от последних городских огней, завернувшись в непромокаемый плащ, появляется человек. Мы знаем этого человека: это Сурков. Свернув с тропинки, он идёт, прихрамывая по нераспаханным кочкам, освещённый слегка ущербной луной; в левой руке он несет большое алюминиевое ведро, которое негромко царапает дном о землю почти на каждом шаге. Пройдя метров пятьдесят, Сурков останавливается, кладёт ведро на землю и, задрав голову, начинает яростно нюхать воздух. Яркий блин луны слепит его, он жмурится, растягивает рот и наконец, словно бы учуяв что-то, начинает подёргивать головой, водить носом по воздуху, как будто пытается поймать подвижную и тонкую волну только ему внятного запаха. Затем, убедившись в правоте своего обоняния, Сурков поднимает ведро и уверенно идёт наискосок поля, всматриваясь в освещённое луной пространство. Увидев сурчину, он приближается к ней, стараясь не шуметь, затем откладывает ведро и ложится на землю. Он прикладывает ухо к земле и, накрыв голову широким плащом, чтобы избежать лишних звуков, долго и чутко прислушивается к глубокому дыханию земли. Он так долго лежит на холодной земле, без движения, что наблюдатель, даже самый внимательный, рано или поздно утеряет его из виду, принимая его покрытую плащом фигурку за ещё один, не отличимый от других, холмик в поле. Но спустя столь долгое время холмик вдруг начинает шевелиться, Сурков встаёт и берёт ведро. Его лицо спокойно и бесстрастно. Он теперь знает всё об этом поле, любой камешек, любую рытвину, знает, где протекают подземные воды,

помнит корни всех трав и, как открытую книгу, читает культурный слой раннего энеолита. Но нужно ему не это. Пройдя несколько шагов в сторону, он садится на корточки, разглядывая землю, одной рукой сдвигает в сторону траву, другую же запускает глубоко внутрь норы под ней и тотчас же уверенно вытаскивает оттуда сурка. Он подымается, держа зверя за шкирку, и внимательно со всех сторон разглядывает его под лунным светом. Сурок гипнотизирован неожиданной переменой своей участи, он не шевелится и стеклянными глазами встречает испытующий взгляд Суркова. Тот же, держа его на излёте, щупает его двумя пальцами свободной руки: жирен ли, нагулен ли? Сурок не жирен, но довольно увесист, это взрослый самец. Сурков одобрительно цыкает зубом и кладет сурка в ведро, прикрыв сверху крышкой. Он уверен, что сурок не выберется наружу и даже не попытается это сделать. Он не знает этому причины, но многолетняя практика позволяет ему не опасаться побега. Дальше он отходит в сторону отдалённой сурчины и там опять садится на корточки, поставив ведро с сурком рядом с собой. Тут выход длинного и узкого отнорка, Сурков еле протискивает внутрь руку и вынимает сразу двух маленьких сурчат. Они едва попискивают; Сурков, убедившись, что не умял их, сразу, не присматриваясь, бросает их в ведро. Детёныши все одинаковые, рассматривать их — пустая трата времени. Он снова запускает руку внутрь отнорка и вынимает сонную молодую самку, маленькую, видимо, годовалую рыжуху. Живот у неё немного блеснул на свету: она только что кормила сурчат молоком. Сурков кладёт её в ведро и накрывает крышкой. Затем, не поднимаясь, на коленях он отползает чуть лишь в сторону и тут же выхватывает из земли сурка. Он поднимается и довольно осматривает животное. Это большая, толстая самка, она беззлобно глядит на Суркова и по-дирижёрски разводит передними лапками. Сурков бережно кладёт её в ведро, прикрывает сверху крышкой и наконец идёт обратно, к дороге. С полным ведром идти заметно труднее, но Сурков возбуждён, переполнен чувствами и совсем не ощущает усталости. На дороге, метрах в ста отсюда стоит чёрный, блестящий луною роллс-ройс. Едва Сурков поднимается на дорогу, машина трогается и беззвучно подкатывает к нему. Водитель выходит, открывает перед Сурковым дверь в салон. Тот садится и ставит ведро с сурками рядом с собой на кожаные сиденья. Машина плавно, сонно отъезжает, водитель приглушённо включает плеер с лёгким мелодичным евротрансом. Вскоре за окнами уже плывёт ночная, мокреющая под начавшимся мелким дождём Москва. Сурков закрывает глаза и покачивается под ритмичной волной музыки. Он сдвигает крышку ведра, запускает внутрь руку и гладит ладонью мягкую, тёплую, ворочающуюся массу, улавливает еле слышный писк малышей и улыбается этому. Всё будет хорошо, думает он. Мы из нищеты земли

восстали к величию разума, как звёзды, которые рождаются из мёртвых мышиных глаз, как титаны, несущие плоть галактик на своей бессмертной душе. Теперь всё будет хорошо. Мы с улыбкою гладим наше прошлое: так некогда и господь воинств смотрел на мышиную землю и дарил ей милость, как игру. Всё хорошо, всё уже случилось, думает он, и тёплый, молочный писк сурчонка длится, скользит по влажным карамельным завиткам блаженного Василия, сладко и сонно.

Нетленный

Глядя на закипающий на электроплите казанок с чаем (всыпали пачку на пачку сахару), все разом замолчали и перестали ворочаться среди шкур и набитых пухом пополам с соломой огромных самошитых матрацев. Добрый наклонился, кряхтя, над казанком и стал помешивать загустевшую кверху заварку косой деревянной лопаткой, отчего всю юрту наполнил ароматный чайный пар. Красивая бусина, прикрыв глаза, шумно вдохнула и засмеялась: Как в детстве, — сказала она, вытягивая из-под балахона к плите руки с подпалинами проказы у локтей. Добрый беззвучно смеялся, помешивая лопаткой вскипающий чай: Имбиря кинешь в чашку — ещё и прошлые жизни вспомнишь. Звёзды приснятся, — зачарованно проговорил в тон ему тихий, потирая рукой отмороженные под ветром пальцы.

За толстыми войлочными стенами юрты трудится ночь и буря, рассекая воздух степи острым, как толчёное стекло, снегом. Дремучий выставил длинные неоновые лампы и уложил их по кругу у стен юрты, но свет от них тусклый, красноватый, словно от умирающих, но здесь и не нужно другого. Так сказал дремучий — здесь, говорит он, другого не надо, — ему лучше знать. Тихий наклоняется ко мне и толкает меня плечом в бок: Ты не робей. Первый раз в ставке? Да, говорю я, первый. Царя, значит, увидишь. Добрый тем временем, отключив плиту, начинает разливать чай по жестяным кружкам, вытаскиваемым из брезентового, обшитого бисером рюкзака.

Унылый берёт кружку одной рукой и, ещё не присев обратно на место, начинает громко цедить волшебное пойло. Двумя руками, пренебрегая прилагающейся по этикету ручкой, берёт кружку напрасный: он сильно сжимает её в ладонях, закрывая глаза и показывая тем самым, что тепло ему милей питательной влаги. Двумя пальцами и уже за ручку берёт свою жестянку крапива, а чтобы та не упала, вывернувшись из тонких пальчиков, третьим она придерживает её с краю, для равновесия. А вот клетка и бусина хватают кружки радостно и по-

детски, начинают со смехом чокаться друг с другом и притворно целоваться. Медленно тянется за своей посудиной толстый, а затем долго напряжённо смотрит в чай, словно вспоминая, сколько его было пито за всю немалую жизнь. Поправив очки на носу, нищий порывисто подымается за кружкой и, плюхнувшись на место, со словами О, чаёк! начинает хлебать его весело и как ни в чём не бывало. Тихий берёт и для меня кружечку, передаёт её мне значительно, но и небрежно, чтобы я не чувствовал себя чересчур скованным. Добрый и дурной, оставив чуть лишь пригубленными свои кружки, из тёмного угла юрты к центру, на свет выволакивают какой-то большой и неопрятный мешок. Они приподнимают его и подталкивают в круг сидящих, которые расступаются. Наконец, мешок уложен на место, его с двух сторон поддерживают руками. Дурной развязывает тесёмки и снимает мешок, стягивая его наверх, — под ним оказывается крупный мужчина с моложавым и бледным лицом.

Это нетленный, — говорит мне шёпотом тихий. — Он царь. Я разглядываю нетленного, думая о своём везении, ведь не каждому, вовсе не каждому, родившемуся в царской степи, выпадает удача увидеть её царя. Нетленный спокойно и безучастно смотрит вокруг себя, моргая светлыми, прозрачными глазами. Глядя на него, легко вообразить, что он улыбается, хотя уголки его рта совсем неподвижны. Это впечатление происходит, насколько я могу разобрать, от общей открытости его лица, ясности и безмятежности взгляда, спокойного отношения к собственному присутствию, которое есть редчайший дар и поистине царское искусство. Нетленному подвигают кружку с дымящимся чаем, и он с той же невозмутимостью берёт её и, теперь уже слегка улыбнувшись, пьет чай глотками с равными интервалами, достаточными, чтобы совершить вдох и выдох. Это приводит всех в полувосторженное состояние, вызывает веселье, радость, одобрительное похлопывание друг друга по плечу, попытки пения. Даже толстый, оставив извечную свою хмурость, разделяет, как может, всеобщее настроение. Покончив с чаем, нетленный со вздохом откладывает кружку и начинает смотреть на присутствующих, одаривая каждого ровным, открытым, ни к чему не обязывающим взглядом. Царская милость, — комментирует действие нетленного добрый, — царское счастье. Всем, — комментирует всеобщее состояние дурной, — хорошо.

Постепенно присутствие нетленного обмирщается, и весь наш круг заново втягивается в рутину разговора и непринуждённого (NB: никто не принуждал) общения, чему в немалой степени способствуют волнительные дозы чая. Жизнь царской степи, сообщается мне посредством этой беседы, это море: волна, пугающая здесь бесчувственных рыбаков, исчезает мгновенно, не оставляя ни следа.

А после подымется такой же мощной, губительной и злосчастной, но уже в тысяче миль отсюда, и тамошний житель, заводчик русалок, пловец, вуаяжёр, студёная голова, вот ровно так же ужаснётся ей и тотчас умрёт в подтверждение этого факта. Так постоянно случается и с нетленным. Мне говорят: мы в ставке вечно его теряем. Последний раз — месяца три назад, ещё тепло было. Он ушёл вечером в степь, как обычно, змей послушать на ночь, да и не вернулся потом. Неделю его искали, нашли в каком-то селе, где его уже три дня как схоронить успели. Землю после дождя копать трудно. Но вытащили, всё-таки вытащили. А то когда бы ещё найти пришлось.

Мне говорят: не каждый справится с тем очевиднейшим фактом, что труп может ходить, улыбаться, пить чай, хорошо разбираться в змеях. Чаще всего просто закапывают с глаз долой, наймут казённую бабу, чтобы повыла, выроют яму на краю кладбища, бросят туда без гроба (кто же на бесхозное тело тратиться будет?) и табличку повесят, мол, не наше, не возражаем. А тут обычно мы и подъезжаем, доступными средствами объясняем селянам, в чём тут дело, а дальше остаётся только выкопать и почистить слегка. И вот он, царь.

Мне говорят: это хорошо, что сейчас есть ставка, и мы оперативно такие вопросы решаем; какой-никакой, а прогресс. А раньше, это уму непостижимо, как всё раньше было. Пятьсот каких-то лет назад нетленного опять убили и бросили в пустое болото, не разобравшись. И только лет через сорок, случайно, по доносу, нашли в каком-то овраге, где он свистелки из глины делал. И он не пострадал? — спрашиваю я, потягивая сладкий осадок из жестянки. А что ему сделается, — говорит тихий. — Царская плоть. Разве что нравственно, или в высшем, религиозном смысле, разве что. Ммм, оо, — внезапно произносит нетленный, глядя вверх, в таинственную высоту, где смыкается купол юрты, и все благоговейно умолкают. Царское слово — твёрдое слово, — вполголоса говорит дурной. — Твёрже всего на земли есть.

Буря без устали носит по тёмной степи волны игольчатого снега, усеивает им промёрзшую до начала начал землю, свистит в перелесках и ложбинах, а встретит кого живого — иссечёт ему лицо в кровь и тихо уложит к земле, ледяной находкой. Если смотреть сверху, то можно увидеть в расположении этих паданцев сложную закономерность, можно сказать, что сюжет, да только сверху никто не посмотрит. Но мы и так всё узнаем со слов бури, она интересный рассказчик: гудит, смеётся, пугает, но интригу держит. Главное, что царь наш с нами. Хорошо, что он у нас есть. Страшно представить, что было бы, если бы мы его потеряли.

Мощь

Монгольский проводник и монгольская лошадь — идеальное сочетание цены и качества!

Русский богатырь Фома, устав от того, что его принимают за голландского спиннингиста, возвращается домой. Но домой вернуться не просто, да и где дом? Никто ведь об этом не пишет, а Фома решил, что лучше будет, если взять проводника, и ей-богу, не ошибся в этом. Проводником едет деловой мужик Зоригбат, у него всё хорошо: хорошая квартира, хорошие дети и хорошие лошади.

Зоригбат говорит: я вот дотуда доеду, а дальше нет, дальше сам едь. А почему ты дальше ехать не хочешь? Там мощь стоит, мне туда ехать не надо. А я тебе ещё денег дам, поедем, проведёшь меня! Вздыхает Зоригбат и молча гладит шершавой рукой лошадиную шею.

В степи краски разлиты — красные полосы, синие, вишнёвые. Там жёлтые пятна бледные, как будто старые и выцвели они под солнцем, а здесь — как сырая, скрипучая ржавчина, глаза бы её не видали. Там птицы высоко и медленно плавают в мельтешащей ряби неба, а здесь плоско выпархивают из-под лошадиных ног и с чвирканьем, быстрее, чем моргнёшь, прячутся в траве. Там не лучше, чем здесь, но им туда.

Зоригбат говорит: я вот эти холмы объеду, а дальше ни-ни — дальше сам едь, как можешь. А почему, почему ты дальше не станешь ехать, зачем себя ограничивать? Я мощи боюсь, она там великая, мне её не объять. А я тебе заплачу, я тебе денег дам столько, сколько твоя лошадь за раз сена съедает. Зоригбат краснеет, надувается и с силой прикусывает губу, слегка подгоняя лошадь по ходу.

Тёмная туча земли под ногами набухает всё больше и больше. Где яркие цветы, заплетённые в косы степи, словно невесте? Их нет. Они потеряли их далеко и уже не помнят. Где голоса миллиона птиц, почему не поют они, не бьют в барабаны, не разливаются флейтами, не трогают струны точным, как выстрел, когтем? Потому. Ветер стал им преградой, он тоже тёмный и низкий, он их, наверное, сдул.

В синем, вдалеке, скачет ещё один рыцарь, в синем китайском пуховике, и глаза с наслаждением вкушают это глубокое полухмельное блюдо. А там трое в красных лыжных костюмах, словно ангелы, спешившись, жалобно пробираются сквозь упругую стену шквала, и никто не в силах помочь им. Длинною вереницей всадники растянулись под тыльным гребнем холма и не шелохнутся: их огромные флаги клочьями расчертили чёрно-сизую высоту. Сюда, сюда, кричит высокий

предок, чья фигура посреди степи подобна чёрному столбу пепла, к вершине которого стянуты узлы дикого неба. Он нашёл брод между лавинами ветра, раскатавшими степь, и теперь счастлив поделиться этим с проезжими; мудрец тот, кто прислушается к его совету. Впереди, чёрная на чёрном, близится длинная крутая сопка, с которой ветром то и дело скатывает вниз, на степь, войлочные ошмётки туч, ливня и грязи.

Зоригбат говорит: я вот на эту сопку заеду и всё, дальше — ни за что, сам, а мне ещё жить. А почему же ты не хочешь ехать дальше, есть ли этому разумная, в числе прочих, причина? Там, понимаешь ли, мощь беспечально восстаёт надо мной, как над башней, и разрушает меня до самого основанья, а мне ещё жить. А я тебе денег дам, вот и заживёшь, говорит Фома. Я вернусь домой, продам Москву печенегам и сделаю тебя отцом множеств. Зоригбат резко, по-птичьи вскрикивает, хлопает лошадь ладонью по крупу и отчаянно мчит вперёд, на вершину сопки.

Оттуда они спускаются на пустую серую равнину, где сталкиваются с удивительной семантической честностью: равнина действительно совершенно ровная, и ни одна её часть не возвышается над другой; при этом абсолютно пустая в том смысле, что, если бы им или кому-нибудь ещё взбрело в голову искать на этой равнине любой умопостигаемый предмет, чёрта с два они бы его нашли; что же касается цвета равнины, то он эталонно сер, и этим всё сказано. Многие люди, группами и поодиночке, стоят на равнине, на всём её протяженьи, покуда хватает взгляду, и напряжённо всматриваются вперёд, вдаль.

Бледная, излучая невесомый холод, мгла стоит перед ними, вдали, как стена, поднимаясь от самой земли вверх, в необозримую высоту. Казалось бы, ну что толку смотреть в эту стену, мы ведь даже не знаем, из чего она состоит: не то это снег, не то пыль побелки, не то и вовсе корневой рой тех мушек, которые (лучшими) временами появляются перед глазами у каждого, — а? А вон та мужественная личность в припорошенной снегом виллевалке думает иначе и, скинув с плеча высокий рюкзак, богоподобно приближается к блазнящей стене, вступает в неё и растворяется в её мареве бесследно и прощай. Всё? Да где там! Синий всадник уверенным жестом перепрятывает поддельные документы за пазуху и, наугад цитируя словарь Плуцера, влетает на галлюцинирующей лошади в безответную хмарь. Стрелец, без пяти минут Тамерлан, а всё туда же.

Мощь, недовольно говорит Зоригбат, вот чо с ней делать? Их миллионы таких, они собрались на пустой равнине (или лучше назвать её ровной пустыней? да разве найдёшь потом этому оправданья), как зёрна-маковины, рассеянные среди вечных снегов, и глядят в

клубящуюся ледяными вздохами пелену, и не двинутся с места. Храбрых очень мало, очень мало храбрых, а разумных и того меньше. Но уж если мы начнём считать живых, то тут и самый искусный математик не дойдёт даже до начала чисел.

Я туда не пойду, говорит русский богатырь Фома, растирая окоченевшие пальцы. Вот и ладненько, говорит Зоригбат, и, наслаждаясь бесконечной удачей кочевника, разворачивает лошадей назад.

Угнал

— Кривенько, Теобальд, кривенько. И вы сами знаете почему.

Толстяк захихикал, пунцовея с каждым смешком, точно ему перетягивали бог весть каким чудом найденную шею. Максим смотрел на него с полностью новым, не знакомым ему чувством, которое постепенно обживало его и уже прикидывалось привычно-уютным, против того что сама ситуация была отменно мерзкой и болезненной.

— Да знаю я, знаю всё, что вы скажете, — отмахнулся толстяк, закуривая сигаретку, — мол, девять лет по фортепьяно, в пятом классе уже Камю в подлиннике, летом поездка в Моцартеум и вообще польский дедушка, с гонором. Но всё это ни к чему, понимаете, какая штука, Теобальд. Я уже случился. Если хотите, я — это ваш долг художника. Хмм, и персональный гроб с дымоходом, хе-хе…

Рядом был угол здания, где по правую сторону располагалась небольшая ювелирная лавка, а слева оно тянулось ко входу в метро, прерываясь аркой и обменным пунктом. Ранняя весна ещё сохраняла под стенами дома ссохшиеся грудки снега и наста, густо облитые грязью и усыпанные обычным городским мусором. С неба опять моросило всё тою же грязью. Толстяк схватил Максима под локоть и увлёк за собою, встав в арке недалеко от выхода на улицу, куда не заносило порывами ветра эту зябкую морось.

— Опять же, — сказал толстяк, разглядывая граффити, — вы, пожалуй, сочтёте это с моей стороны прихотью. Ну, дескать, делать мне больше нечего, как. Но это, простите, совсем мимо. Я же не нимфетка какая-нибудь, мне от вас, в сущности, ничего не надо. Вся сложность ситуации, вернее, этой, нашей с вами, дискуссии, в том, что для вас это — в лучшем случае — именно что прихоть, а для меня — не более чем грамматика. Даже не текст, а какое-то вторичное умозрительное правило, которое объективно я могу и не знать, но

владеть в совершенстве, как, так сказать, носитель языка, хи-хи. Языки-то бывают ну очень разными, и что на одном, положим, смерть, то при качественном переводе на другой передаётся, допустим, акутальным ударением. Ну что я вам рассказываю, сами всё понимаете.

Из метро вывалилась очередная подвижная порция народа, угрюмо спешившая расползтись по конторкам и офисам. Они пристроились за высокой женщиной, одетой в нечто, невыносимо напоминавшее шкаф. Чуть поодаль проезжал трамвай, погромыхивая на рельсах, цепной дражеточной коробкой с гвоздями.

— Теобальд, вы несерьёзны, нельзя же так. Ну хотите, я вам в кофий плюну, для вящего убеждения? А что, тоже аргумент.

Толстяк перегнулся через столик и намеренно долго выпустил слюну в дымящуюся чашечку. Максим через силу перевёл глаза с меню на чашку, в которой уже кружились по центру беленькие пузырьки, и судорожно сглотнул. В кафе зашла молодая парочка и села напротив, официантка в белой, расходящейся по декольте блузочке прибавила звук радио и устремилась к ним, в очередной раз обдав Максима запахом недорогих и неприятных духов.

— Эх, натянуть бы, оттрахать бы, отыметь бы, проелозить бы, защемить бы у стенки, ии-эххх-хоооо… — громко проговорил толстяк и, сладко потянувшись, одним глотком опорожнил максимову чашку. — Теобальд, как вам эта кобыла?

— Нничего, — еле слышно выдавил из себя Максим.

— Сносно, да? — сказал толстяк. — Терпимо? Сойдёт? Наши вкусы совпали? Да? Вот так бы и вмазал вам промеж глаз вожделеющих…

Из кармана пальто, даже не расстёгнутого Максимом, раздался мелодичный звонок — он нервно рванул пуговицы, но был остановлен движеньем руки толстяка:

— А-тат-ат!.. Люблю музыку. Да и кто же вам будет звонить, небось, просто номером ошиблись. Это часто бывает — привыкнете, — что человек звонит куда-то и думает, что попал куда следует, и даже говорит, обсуждает какие-то дела, хлопочет, а потом раз — и выясняется, что ошибся номером. Скажете, фарс? Спорить не буду, но вы бы видели, как они переживают, потом, когда поздно и всё уже кончено.

Он встал и, вразвалочку подойдя к барной стойке, оставив Максима за спиной, принялся о чём-то разговаривать, прихихикивая, с официанткой, едва освободившейся от обслуживанья новых клиентов. Максим, повернув голову за плечо, искоса поглядывал на него, от напряжения шеи лицо его быстро затекло и покраснело. Толстяк,

положив голову на сложённые руки, любовался чуть заметным пламеньком самбуки, затем улыбающаяся официантка быстрым движением загасила его, и он, тотчас опорожнив широкую рюмку, стал жевать кофейные зёрна, отвратительно двигая огромной, заметной едва ли не со спины челюстью.

В зале кафе потемнело: вошли финно-угры. Четверо, они сели за соседний столик, шумно сдвинув стулья, и заказали свежатины, но были угощены салатом и водкой. Максим достал одними кончиками длинных пальцев телефон и взглянул на экран, но, к удивлению его, сигнала оператора не было. Он хотел плакать. Он растирал глаза жёсткой холодной тканью рукавов пальто до красноты, пошёл неожиданный снег, и крупные слипшиеся комки его падали сзади за воротник на голую тонкую шею Максима и стекали вниз по спине зябкими ручейками. «Господи, что он долбит», — думал он, с трудом поворачивая застывшую и страдающую от потёков мерзкого снега шею и скосив взгляд. Толстяк сидел на корточках около груды битых красных кирпичей, сваленных у обочины грунтовой дорожки, и мерно и угрюмо стучал обломком по другим, кроша их в уже совершенно бесполезную рухлядь. Он вздрагивал плечами, низко опустив шаровидную голову до уровня плеч, и постоянно что-то бормотал с гулким, утробным рычанием. Он напоминал Максиму фэнтезийные зарисовки древних гоминидов и, разумеется, сцены из Кубрика с ними — по той изощрённой тупости, депрессивности и бессмыслице повседневных занятий, с которыми их обычно изображают и которая не свойственна ни людям, ни животным. Максим ощущал присутствие тёмного и, возможно, уже много раз мёртвого зверя, который привязался к нему по не доступной его пониманию и его воле причине и держит его этими же плотными неживыми нитями, как индийский крокодил, душащий солнце в глубоком придонном мраке.

Он снова зачем-то вытащил телефон, чтобы убедиться, что аккумулятор помер. Перед ним маячили сохлые и прибитые снегом остатки высокой травы, за которыми долгим рядом шла кирпичная и ржаво-фанерная стена задников гаражей, укрытых загаженным шифером. Сзади дороги за высаженными клёнами тянулся бетонный дырявый забор, а слева дорога обрывалась в тупик из кустарников, понижавшихся в овражек, служащий свалочной ямой. Внутри остова холодильника ворочалась полуживая собака, похожая на репейный клубок. Максим сунул безответный брусок телефона обратно в карман пальто и сделал первый шаг. Мелкие камни громко шаркнули под ногами, и в этот момент он снова начал слышать стук разбивающихся кирпичей и гнусное ворчание за спиной. Он шагнул ещё раз, теперь уже намеренно цепляя камешки ботинком. Голова его вжалась в плечи, а спина онемела, когда он представил зверя, впивающегося в него

сзади пятьюдесятью когтистыми душными лапами. Но после пары мгновений, когда не произошло ничего, он громко вздохнул охрипшим горлом и шагнул твёрдо. Глухой стук и бурчанье рычащей падали продолжалось, сливаясь с клёкотом поднявшегося в голых ветвях деревьев ветра. Нужно бежать — первый раз за всю жизнь. Бежать труднее, чем просто оставить себя как есть. В переходе даже с очень быстрого шага на бег есть сценичность, которая отделяет тебя от мира так же, как актёра от зрителей. А если — мы это, можно сказать, предположим — мира нет, а все зрители умерли в своих креслах, выпустив фиолетовую слюну на буклет премьеры, тогда как, нужно бежать? А то! Тогда как раз-таки и нужно, это же явный знак и прямая предпосылка. Нужно бежать и проверить, крепки ли нити плотной воды, которыми ты привязан. Может случиться, что где-то они тонки, нет? Где тонко, там что-то рвётся. Порви это, чтобы убедиться в истинности древнего знания.

Метров за семьдесят, перед тем как завернуть с дорожкой направо, Максим остановился и обернулся назад: звука отсюда не было слышно, но вдалеке, близ тупика, он увидел сидящую на кортах массивную фигуру, ритмично замахивающуюся и долбящую рукой по кучке грязно-бурых кирпичных осколков. «Да это, может быть, робот какой-то, — думал он на бегу, уже оставив её за поворотом, — или просто чучело из потрохов набили». Пробежав необычайно долго для начинающего стайера, Максим остановился посреди лужи на узкой набережной. За бетонным парапетом грязно текло несчастье, называемое здесь рекой, цве́та жадно использованной акварельной воды. Дно обнажилось, и, помимо обязательных рассевшихся сапог и протекторов, там можно было заметить массу других вещей, внезапно обнаруживших на дне ненужность их замысла: детская коляска, зонт, оконная рама, велосипедный руль, стул из ядовитой пластмассы, клетка для попугая, бушлат дорожного работника, гиря, не говоря уже о бесчисленном множестве мелких и незаметных предметов, польза которых вошла в легенду. Солнце, напоследок прорвавшее оккупацию серой пелены облаков, скользнуло по влажному дну, которое следом за тем нервно дёрнулось и помрачнело. Максим сел на набережной, прижавшись спиной к холодным бетонным столбикам, и уснул.

Проснулся уже минут через двадцать от захлёбывающегося кашля, выплюнул набившуюся в рот грязно-зелёную водицу и, переведя дыхание, пошёл наискосок площади к уже зажёгшейся иллюминации в витрине магазина электротехники.

— Вот эта? Ниссан? — он указал на заплёванную вновь начавшимся снежком машину, ярко освещённую близкими витринными лампами.

— Нет, конечно. Пройдёмте чуть дальше, — толстяк, привычно взяв его под локоть, повёл Максима вдоль припаркованных у края тротуара

автомобилей вглубь врытой в темноту улицы. — Вот, — он указал на небольшой пежо-хетчбэк, незаметно спавший между двух джипов в удалении от источников света. Улица понижалась дальше, в ещё бо́льшую темноту и тишину, где-то там, внизу, тихо переругивалась пьяная пара, мокрые ошмётки снега при повороте к свету норовили залепить глаза.

— Вы водить-то умеете? — спросил толстяк со смешком.

— Люблю, — полушёпотом отозвался Максим.

На мосту они стояли уже совершенной ночью. Толстяк зажёг сигарету, прикрывшись от ветра, и задумчиво плюнул вниз, в реку. Мимо проезжали машины на скорости, достаточной, чтобы орошать их ледяными и грязными брызгами. Под фонарём толстяк оттянул замызганные брюки по краям и осмотрел их с неудовольствием.

— Дворик у молочного, здесь, — он махнул рукой, не глядя на Максима. — На всё про всё вам полчаса, подка́тите — сигнальте. И поторопитесь, Теобальд, времени нет. Вообще, нигде больше. Инструмент нужен? — он вытащил из кармана связку разноформенных ключей и отмычек.

Максим кивнул и протянул руку. Толстяк ухмыльнулся и, передавая связку, уронил её на землю перед самой рукой Максима. Тот наклонился и, в темноте сощурившись, стал ощупывать пальцами ключи по асфальту. Наткнувшись почти сразу, он на мгновенье замер. От места, где стоял толстяк, до перил моста было не больше метра. Если броситься в ноги и резко рвануть наверх и влево, то приданное телу ускорение способно будет переместить центр тяжести тела за пределы моста. Дальше в ход событий вмешается гравитация. Ей будет привычно опустить полтора центнера органики на высохшее дно реки таким образом, чтобы материал пришёл в негодность. Благодарные воды сомкнут над ним свою акварельную мерзость, рыбы, чья любознательность не знает границ, охотно растащат его на сувениры. В этот момент живот Максима резко и остро свело: он вспомнил, что сегодня не ел ничего.

В тёмном и тихом дворе, вовнутрь которого из окружающих домов светило всего пару окон, машина въехала, остановившись у высокой, раскидистой берёзы, и просигналила фарами четыре раза. Толстяк снялся со скамейки и неторопливо подошёл к ней. Максим открыл окно водительской двери. Он дышал тяжело и неровно, щёки его были влажными от слёз, а губы растягивались в полуулыбке-полугримасе. Он переводил дыхание, вытирал ладонью лицо, а после снова заходился в нервном припадке.

— Угнал… угнал!.. — на сбитом дыхании кричал он в шёпот и снова трясся не то в плаче, не то в смехе.

Толстяк без слов постучал зажигалкой в окно задней двери. Максим перегнулся назад и отворил её, толстяк грузно и деловито устроился на сидении за ним.

— Угнал, угнал, — повторял в безумной радости Максим и легонько тряс руками руль.

Толстяк спрятал зажигалку, расстегнул куртку и с минуту посидел молча и не шевелясь на заднем сидении, наблюдая за припадком Максима.

— Нет, — сказал он наконец, громко и сухо. — Это я угнал.

Он тут же крепко схватил двумя руками Максима за уши и начал остервенело крутить ему голову наподобие руля в разные стороны.

— Вжжж, вжжж! — вскрикивал он, до хруста выворачивая голову Максима то вправо, то влево.

— Бип, биип! — гнусаво бибикал он, сильно ударяя уступом ладони по максимову темечку, и снова:

— Вжжж! Вжжж! — укладываясь в бешеные виражи, а дороге не будет конца для того, кто любит дорогу.

Yes Sir, I Can Boogie!..

Монолитная стена метров около двадцати высотой, ровная, слегка шероховатая, тёмно-бежевой с изрядной долей серого масти, построена была, вероятно, как и всё, что строится, в давнопрошедшие, легендарные времена, тянется вдоль всего побережья далеко, до самого горизонта, размытого дымкой океанической влаги. Здесь от неё до кромки воды расстояние немногим больше ста метров, да и дальше, насколько хватает глазу, оно не очень заметно отклоняется от заданной величины. Берег ровный, пологий, песок и галька, суглинок, собственно, грязь. Повсюду, но не сплошным массивом, растут сухие кустарники, очень ветвистые, переплетённые в густую сеть, с редкими вкраплениями чахло-колючих низеньких деревьев. Кажется, во Франции такие посадки называются «маки́», в них прятались партизаны Сопротивления. У самой стены, видимо, некогда был прокопан ров, но неглубокий или уже частично уничтоженный наносными породами; сейчас он регулярно заполняется водой от приливов и весь порос камышом и теми же кустарниками, имеющими там болезненно бледный оттенок листвы. С такою же регулярностью всё побережье время от времени затягивается пеленой тумана, стелющегося по спокойному полотну океана или катящегося

отдельными, можно сказать, валунами, которые затем, проволочившись по берегу, рассыпаются о неприступную крепостную стену. Воздух пропитан этим горько-гнилостным запахом настолько, что он перекрывает все вкусовые и обонятельные ощущения, превращая любую еду в подобие резиновой жвачки.

Вечный монотонный гул от океана, но невозможно сказать наверняка, точно ли от него. Он просто лежит здесь, заполняет собой никчёмную тишину этого пограничья; и сквозь него можно расслышать то негромкий плеск волн по песчаным отлогам, то такой же неприметный шум веток, едва качающихся под редким и слабым ветром. Всё это сверху покрывается тонким дрожанием, не то стрёкотом, сродни электрическому меряченью вблизи высоковольтной линии, которых здесь точно нет, отчего природа этого полузвука и вовсе неопределима. Со временем он, однако, начинает казаться сильнейшим прочих и очень серьёзно досаждает, поскольку ухо, как выясняется, не может к нему обвыкнуть.

Ноги вязнут в размокшем грунте. Собака протискивается сквозь густой кустарник и понуро, почти поджав хвост, стоит рядом, глядя куда-то в сторону, беззвучно. Ей непривычно и страшно, она удерживает дыхание и не лает, дабы не обратить на себя чей-нибудь внимательный слух в этой серой тишине. Где-то высоко над побережьем гнусаво кричит чайка, это отвлекает. Но они здесь не гнездятся, берег слишком пустынный, море слишком пустое даже для этих небрезгливых птиц.

Пустое, впрочем, совсем не значит безжизненное, вернее, не значит, что жизнь ещё не наполнила его. Можно было бы подумать, что однажды, повинуясь воле своего календарного бога, она нащупает вход в это пространство, как вода обнаруживает течь и затем заполняет лодку: найдёт этот вход, вольётся сюда всей жилой, формами, цветом и страстью разгромит этот нулевой пейзаж. Но этого не случится. Пространство не заперто и вход повсюду, однако ничто живое не стремится попасть сюда, кроме этих отчаянных кустов с камышами. Есть этому и причина, в числе других причин.

Опять срывается ветер, но как-то рвано и тесно, ломится в кустах. Да нет, не ветер, а что-то и вправду пытается продраться сквозь частую сеть веток. Что? Ворочается и трещит, ещё не появившись. Многие согласны в том, что в такие моменты ожидается появление тех самых удивительных существ, описаниями которых полнилась литература человечества на протяжении многих веков. Золотоголовые кормящие василиски с выводком щенят или крохотные древесные люди, чьи и в самом деле уморительные повадки настолько веселят обезьян, что они содержат их в плетёных из молодых побегов вольерах на радость малышне, далёкий зверь оторонго, которого люди видят в

образе кошки, когда он ласкается к ним, и в его подлинном и бессмертном облике, когда он их убивает, или, может быть, один из тех низовых драконов, чьи крылья слабы поднять их в воздух, и от этого их мудрость обращена вовнутрь, в печальную и скучную злобу. Нам говорят, что это тревожный и в известной мере ключевой момент, что после этого наступает развязка. Нам врут. Из людей, которых мы видим ежедневно сотнями и тысячами и которых, не соображаясь с нормами человеческого общежития, мы уничтожили бы без сожаления лишь за то, что они в буквальном смысле слова ничего из себя не представляют, такие моменты пережил каждый второй, многие неоднократно, однако развязки не наступило; зубы, которые должны были быть сокрушены, остались на месте и переживут своих владельцев ровно настолько, чтобы по ним можно было реконструировать их облик, вопреки его общепризнанному ничтожеству и даже отчасти глумясь над ним. Не о чем сожалеть: это закономерный итог описанной выше причины.

Но кто же и в самом деле рвётся с треском сквозь густую разбойную стену кустов, кто этот ужас? Собака прижалась к сапогу и дрожит, ощетинясь, всем телом. Из разлома веток, чуть сверху в эту ложбину, шурша мелкой листвой и чавкая грязью, вырывается похожий на небрежно перевязанный тряпичный баул, плотный комок, размером чуть поболее подсвинка, и начинает со странным, пыхтящим звуком, смешно ёрзая по грязи, переползать поближе. Вслед за ним таким же способом вываливаются и ползут ещё два, нет, три ничем не отличимых от первого, пухлых, картофелеобразных существа, напоследок скатываются ещё двое, и вся эта кавалькада медленно и неуклюже, перекатываясь с боку на бок, движется по склону и дну этой неглубокой ложбинки, сразу наполнив пространство бойкими сопящими звуками. Всё ближе и ближе — ба, конечно, как же можно было не догадаться? Это же девушки, прелестные юные создания, которых так часто сравнивают в профильной литературе с мифическими сладкоголосыми сиренами. Одна из них подползла совсем близко и тычется передней частью туловища в объектив камеры, демонстрируя волнующие черты своего воображаемого лица. Осмотрим её. Тело обёрнуто в плотный балахон, ткань которого, возможно, некогда была мягкой и тонкой, но износилась напрочь, а накипевшая грязь превратила её в грубое, но надёжное при выбранном способе передвижения рубище. Обращает на себя внимание один предполагаемый дефект в её внешнем облике: отсутствие того, что у позвоночных существ называют конечностями. Если отодвинуть складки балахона в местах их возможного крепления, то можно обнаружить под ними небольшие уплотнения на теле, что даёт основания утверждать, что они некогда были ампутированы. Видимо, это сказалось на манере передвигаться, столь нечасто встречающейся в природе. Полнота,

переходящая в обрюзгшесть, даёт надёжную защиту от холода в этом сыром и мерклом краю. Она настойчиво тянет голову к камере, заглядывает в воронку бленды и, как кажется, пытается что-то произнести. Прислушаемся к ней. Она шевелит расщелиной губ, но они, очевидно, совершенно отвыкли от членораздельной речи, а её голосовые связки не могут управиться со столь ответственным заданием. «Yessa, I caboo…» — раздаётся наконец из приоткрывшейся щели рта. «Yessa, I cabboo…» К сожалению, она пытается петь, а неумелые модуляции голоса портят и без того неуклюже артикулированную речь. Зато они же в конце концов опознаются слухом: конечно же, это знаменитый хит старинной группы Baccara, здесь не может быть иного мнения. «Yesse, I camboweeee!..» — срывается её голос в свистящий монохромный визг, как будто внутри её спустили крепко надутый шарик. Тем временем её компаньонки перекатом проходят всю эту небольшую открытую площадку и вновь с треском и шумом вваливаются в частокол мелких кустов; она, откатившись, спешит за ними.

Жизнь никогда и не сунется в это место, на берег сирен, в обескровленное, стёртое до простых форм кочевье. Быть может, она и пыталась в прошлом, но тектоника этих пространств неумолима и всякий раз принуждала её отступать обратно, оставляя, как беглую потерю, недолго трепещущие следы своего пребывания, жалкий мусор, становящийся в итоге неотличимой частью пейзажа. Исследователь, можно предполагать, нашёл бы интерес в трассировании этих следов, дабы обнаружить здесь, в лимите, характерные способы, по которым жизнь распространяется в обозримой вселенной, но это предположение лишено оснований: они тоже пусты и безвидны, и это занятие ничем не успешней тех немногих других, которые здесь можно себе позволить.

Прижав острые уши, собака напряжённо всматривается в еле различимую точку в небе. Это случайно занесённая ветром чайка кружит над линией берега, высматривая возможность спуститься ниже. Скоро она убедится в бессмысленности этого шага и, исторгнув крик удивлённого недовольства, решительно повернёт обратно, в океан. Невозможно представить, что те из них, кто время от времени залетает сюда, делают это по своей разумной воле или из авантюрности характера. Скорее всего, это глупые и неудачливые птицы, решившие искать пропитание в стороне от сородичей, боясь конкуренции, и по лености предпочитающие просто следовать за ветром, дующим к берегу. Если они затеряются и пропадут в океане, популяция только окрепнет, как бы цинично это ни звучало.

Бледно-сизый туман вновь наплывает ватными клубнями и рассыпается катышками войлока по берегу, скрадывая часть однообразного

щетинистого ландшафта. А вместе с ним порыв ветра усиливает и тот мерцающий гул, от которого, пусть он и слаб, со временем начинают ныть и болеть перепонки ушей. Собака тихо скулит и показывает всем телом, как сильно ей хочется поскорее уйти отсюда. Не ей одной, но превращённое чувство человека способно заворожиться даже таким, жалким и утлым, зрелищем, как стелющаяся рваным покрывалом мокрота, заново укатавшая прибрежные пустоши.

Должно быть, те, кто бывал здесь прежде, всё забыли. Им можно: здесь, собственно, и нечего помнить. Вкус бесцветной резины во рту и горьковатый воздух, щиплющий глаза до слёз, если не стараться моргать как можно чаще. Стук костлявых веток у кромки воды, где приливом размыло берег и росшие там деревца обвалились, образовав плавни. Те, кто любит пространство, будут удивлены тем, что оно и само по себе бывает тесным и раздавленным в слепую лепёшку, безглазым и словно заваленным бесконечной чередой величин, не имеющих к чему приложить себя. В нём не проснётся уснувшее и не окончится начатый день. Кто-то скажет себе, кто, не проснувшись, уснул здесь, кто-то спросит ему в ответ, кем был откупорен этот день, кто-то же, начав говорить, забудет последнюю память о дрожащем тумане, глодающем тонкую линию побережья. Ветер раскатывает его по гладкой поверхности влажного берега и со всей силы разбивает о мощную, изъеденную влагой и солью стену, сплошную, без единой трещины и щербинки. Только высоко наверху её бойницы заставлены наглухо неразрешимым холодом пустоты.

О Ангелах

— Говорить с ангела́ми? Легко. Мой брат это умел, — заявляет, значит, мне этот старичок.

— Простите, вы о чём вообще?

Я стою у лестницы сельской больницы, освещённой бесконечным солнцем. У меня кружится голова после укола, и я совсем, совсем не хочу с этим вонючим старичком сейчас общаться.

— А вот там человек умира-ает, — старичок протяжно разводит руками и указывает куда-то на второй этаж, — а они ему штырк туда капельницу, плюх сюда подушку, а родственнички, сучатки, тут же библию-шмиблию суют, а врач врачихе ещё исподтишка в трусы лезет, словно уже и кончился пациэнтик-от. А попы в селе у нас знаешь какие злющие? От них дети энурезом промокают, от одного поповьего

взгляда. Ну куда им с ангела́ми-те говорить, а? А брательник мой, он да, он умел.

— Мне, извините, идти надо, — я пытаюсь выкрутиться от уморительного старичка, но у меня всё так же плывут солнечные пятна перед глазами.

— Ты давай не это. Ты у него сам спроси лучше. Да вот он.

Дедок машет рукой в сторону, я поворачиваюсь и вижу точно такого же гадкого старичка, стоящего, упёршись рукою в бок, шагах в десяти отсюда, на проезжей части, и что-то увлечённо жующего.

«Спроси, как у пороси». Первый дурацкий старичок с подхрюкиваньем начинает смеяться, прижав кулачки к бороде. Близнецы, думаю я, глядя на второго, сплёвывающего — как оказалось — тыквенные семечки, и сердце мое сжимается.

— Дык эта, — говорит он, отплёвываясь. — А о чем с ними разговаривать? Они ж не знают ни хера.

— У меня, — подхватывает, как заноза, первый старичок, — ещё хуй писюлькой болтался, а этот уже вечером уткнётся в угол, с глаз подальше, и давай начитывать что-то по-тарабарски. И главное, сначала так тихо делается, а потом, это, прямо из угла, из темноты слышно не то шуршит чего, не то шепелявит. А затем оттуда к нему их узкие мордочки тянутся-тянутся, глаза тёмные, не моргают, безвекие, стало быть, а губы, как жопная дырка, и всё время чего-то шепчут, поскуливают. А этот их гладит всю дорогу, да ещё палец им в рот суёт, а потом облизывает. Мне как-то дал лизнуть — ну, кисло, как муравья прищемить, всего делов.

— Этсамое, — говорит второй, — я не специально им совал, они сами. Нравилось им палец сосать, маленькие наверно ещё были, пальца от титьки не отличали. А то, что слизывал, — ну, я и у щенят слизывал, и у кур, и у лошади. Да не упомнишь ещё, у кого случалось. Натура, должно быть, такая, хер против неё пойдёшь.

— Выводок там был, ага. Причём, у ангело́в же всё не как у людей, и растут они медленно, и число их, если по науке, не поддается исчислению. Ну, это мы потом уже, после школы узнали.

— Время тогда было не то, что счас — живи, жируй, сколько влезет.

— Тёмное было время.

— Совок был, — сокрушённо говорит второй. — Ну, мы не лохи, чтоб у станка дни напролёт вкалывать, оно надо? Собрались, поехали в Москву, там по флэтам несколько лет над таджицким златом чахли, хехе. Деньги чо, да, заработать хотелось, но это тогда опасно было.

— Обэхээсэс друг человека.

— Счас не поймут. В общем, однажды мамашка наша, герой труда, помре, а у нас ни профессии, ничего и нету. Вернулись в эту Пересрань рязанскую, а и тут делать нечего. И вылазить стрёмно было. В общем, тогда…

— Тогда-то он и вытянул первого. Голодные дни стояли. Голод — это не то же самое, что проголодался, это целый новый, знаешь ли, мир, и его законы — не наши законы. Ну, он сел, как в детстве, в угол и начал шептать. Я подумал, что двинулся, а потом ответный шорох услышал и вспомнил, как они морды-те свои тянули. Меня вдруг затошнило, и я ушёл обжиматься с унитазом. А когда вернулся, гляжу — а он стоит у стола и рубит. Ножом таким, с широким лезвием, как раз для рубки. А второй рукой ангела придерживает, а тот длинный вымахал, весь белый, змеящийся, липкий, а на конце у него такое крупное утолщение, как мешок или луковица, вся чёрными волосками поросла. И чуть ниже головы — ручки маленькие, точь-в-точь как у младенцев, только в три коленца складывается, а не в два, как у людей. А этот рубит и рубит, рубит и рубит, аж посуда в шкафу звенит.

— У них шкура жёсткая, плотная. Ножи на раз стачивались. Зато как разрубишь — там внутри всё мягко, как в пизде. Я прям оттуда пальцем выскребал и ел. Голодный был потому что в тот момент, готовить потом уже учился.

— А я смотрю — этот уже и чавкать начал, пыхтит, разре́зать тушку змеючую пробует и сразу же второй рукой оттуда в рот словно кашицу, мать её, пихает. Оно там и не мясо даже, а что-то вроде творожка влажного с жилочкой. А на вкус — ну как бы сказать, вроде крутого яичного белка, но с кислинкой и ещё сыростью припахивает. Вот так в четыре руки мы его сырым и сожрали тогда.

Мне солнце как-то резко, грозно сверкает в глаза, и я только тогда обращаю внимание, что вокруг меня уже небольшая группа блядских людей собралась, и все молча слушают стариков и не отрываясь смотрят на меня. Я очень слаб и с трудом держусь на ногах, и только из-за этого где-то отдалённо внутри себя едва ощущаю тревогу происходящего, но никак вмешаться в это не могу и не хочу.

— Значит, если с луком, то делается вот так, — вновь, как мудак, заговорил второй старичок. — Берёшь пучок репчатого зелёного лука и мелко его шинкуешь. Потом кладёшь его на сковороду с оливковым маслом и чуть поджариваешь на маленьком огне. Пока лук жарится, берёшь грамм триста ангелятины и делаешь маленькие такие биточки, ну, где-то с грецкий орех размером. Обкатывать можно в тёртом имбире и перце пополам с солью — не помешает. После этого

выкладываешь их на сковородку с жарящимся луком и плотно накрываешь крышкой, и оставляешь на небольшом огне минут на десять. Нарезаешь тонкими ломтиками твёрдый сыр. Затем, когда мясо протушится, открываешь крышку, немного прибавляешь огня и укладывааешь сверху на биточки ломтики сыра, в течение трёх—пяти минут прожариваешь без крышки на среднем огне. Сыр должен полностью обтечь, образовав тонкую тягучую корочку сверху над биточками. После этого мясо можно подавать с салатом и десертным вином. На всё про всё тебе нужно один—два пучка лука, немного оливкового масла, триста грамм мяса и до ста грамм сыра. Специи по вкусу.

— Ага, по вкусу, счас! — визгливо говорит тупая баба в белой косынке, нахально выставив морду. — Я если петрушки не накрошу, цедры там, гвоздики не накидаю, оно на вкус как говно. — Народ за её спиной начинает похохатывать, она оборачивается, расплываясь в улыбке, радостно разводит руками: — Как говно!

— Ну ты же падаль, — довольно морщинясь, говорит первый старичок. — Тебе, дуре, всё, считай, даром досталось, а где ты была со своей свинячей петрушкой, когда мы чуть последним умом не повредились, когда их сырыми жрали? Потому что это труба, десантники, — сообщает он поверх сникшей бабы. — Мы с ним после того первого на такие измены присели, что и подумать раньше не могли, что такое бывает. Дня через четыре только отошли малость, да и то… Каждый ангел ужасен, отвечаю.

— Поэтому нужно вялить, — говорит высокий мослатый мужик в ватной безрукавке на голое тело. — У меня, когда день солнечный, всегда во дворе жена выкладывает на фанеру. Оно, в принципе, дня хватает, мясо-то нижне.

— Едал я твою размазню, — возражает бугор в сизой кепке. — Вердикт: к свиньям. А знаешь, почему?

— Почему? — спокойно приняв упрёк, вопрошает мослатый.

— Потому что сам не готовишь, а всё на бабу оставил. Не женское это дело, скажем так. Они, скажем, мухи от ангела на зуб не отличат, куда им ещё готовить.

Тут же всё женское вокруг заголосило, заверещало в гневе от столь крутого наезда, но бугор держится крепко, лишь отмахиваясь от оскорблений. — На том я стою! — восклицает он твёрдо, вжимаясь под кепку. Но склока не унимается, разгорается жарче.

— Лихие девяностые помнишь, братишка? — трогает меня за плечо второй убогий старичок; в прозрачных, выцветших глазах его мерцают слёзы, а голос, снизившись, доверительно булькает мне в лицо. — Три деревни там (кивая налево) и две там ещё (вперёд) — опустели,

вымерли, как это говорят. Многие уехали сразу, остальные потом, часть старых поперемёрло за это время. А мы, видишь, выжили и никак не в ущербе. И всё им благодаря, ангела́м. Потому что это ж только снаружи видится, мол, ну что там, сырой какой-то занюханный угол в комнатушке, ну, сколько оттуда понадёргаешь. Ан, вот как, открылась, понимаешь, бездна, их полна, этьсамых. И я тебе не скажу, и никто вообще не скажет, сколько их там, может, целая *плонета*.

— И о чём же вы с ними тогда говорили? — Яд, который вкололи мне в больнице, начал действовать, я чувствую это. Горло высохло, и слова еле прошёптываются наружу, а что видят глаза, то никому видеть не рекомендуется. Скоро прервётся дыхание или пульс, одно из двух, но тут не угадаешь, и онемевшее тело дозволено будет унести.

— О высшей Пронойе Света, о чем же ещё? Ты запиши рецептик-от, не манкируй, эти тебе такого не расскажут. Всего тебе понадобятся несколько мясистых свежих капустных листов среднего размера. Их нужно обварить кипятком и положить на пару часов в бензин, чтобы он хорошо пропитал их. Затем, достав листья, сполосни их холодной водой, сложи втрое—вчетверо, так, чтобы они умещались на ладони, и переложи их заранее подготовленным фаршем с кунжутом в несколько рядов, наподобие гамбургера. Сверху и снизу для устойчивости можно обложить тонкими гренками или пресной вафлей. После этого возьми трёхдневных мышат и нацеди их крови, собери в шприц и аккуратно введи в самую глубину фарша, на все слои. После всех приготовлений осталось лишь обернуть такой бутерброд фольгой и поставить на несильный огонь в духовку, минут на двенадцать—пятнадцать. Готовое блюдо можно остудить и, нарезав поперечными кусками, использовать в качестве тонкой закуски к аперитиву.

— А мы их жрём! — прежняя баба из длящегося галдливого спора высовывается перед моими глазами в съехавшей на щеку косынке, разгорячённая и покрасневшая мордой. — Считай: дураки, и попы, и злыдни, и звёзды разные, и мамки, и змеи по всей земле, и психиаторы, и хлебные крошки, и щелканы, и монахи вонючие, и вся небесная рухлядь им поклоняется. А мы их жрём!

— Жрём! — раздаётся объединённый рёв бранящейся толпы.

— Жрём! — мужчины и женщины заявляют об этом единогласно.

Второй старичок, как тупой, вдохновенно кивает, жрём, дескать, и находим в том неведомую стезю. Но с силой хлопает нацепленная на титаническую пружину дверь больницы. Но по лестнице спускается рослая мощная женщина лет сорока в халате медсестры и резиновых шлёпках. Она проходит мимо взъерошенной толпы жрущих, мертвяще

лязгая жестяной миской, которую несёт в руках перед собой. Останавливается перед густым начёсом кустов на месте бывшей клумбы.

— Это, как он? — хрипло говорит первый удушающий старичок, роясь в бороде.

— Подохло всё, — цедит сквозь зубы сестра и одним рывком выплёскивает розовато-бурое содержимое миски в кустарник. — Георгич, — развернувшись на него в упор, — занеси-ка к вечеру пару кило, у меня гости будут. И не тащи всякое лежалое. Свежего заколи, давай.

— Хоспади, что ж дальше-то будет? — плачет робкая баба.

Дальше оттуда дорога уводит книзу, где стоит на откосе некогда белый, а теперь изъеденный ржавчиной зил-молоковоз, и за ним грунтовуха пропадает в отцветших зарослях бесхозных палисадников и газонных кустов. Дальше заросшее сором насквозь гречишное поле, над которым тяжело звенит армада насекомых. Слева, у поворота едва различимой здесь дороги, течёт река — ну, не бог весть что, впрочем, местами глубокая. За ней — развалины элеватора, где селятся ласточки, длинная болотистая пустошь на месте спущенного пруда, две лесополосы и забытое, стёртое кладбище. Большое округлое поле, тоже взошедшее сором, где местами травы в двойной рост поднялись, и уступ леса на холме справа, дальше. И поваленные осевшей почвой голые сероватые стволы деревьев у склона холма, под которыми блестит жилка родника. Дальше мелкотравье и глина с редким лесом, и поляны, поляны, и даже берёзы. А дальше уже тяжело разобрать, наверное, тоже что-нибудь есть.

Скотья Ножка

Ночь в лесном лагере близ Ветлуги. Тихое звёздное ничто осторожно ворочается вокруг нашей стылой стоянки. Снег прорывается под бахромчатые ветви сосен и подолгу зависает, искрясь, мучнистыми облачками в тонких просветах луны. Это красиво, говорю я. Это смешно, отзывается Скотья Ножка из-за моей спины. Я поворачиваюсь и напряжённо смотрю в её сторону: вот, у наваленного к стволу дерева сугроба, укрывшись разодранным пальтишком, лежит её крохотное тело, чуть обметённое снежной пылью; она отвернулась лицом прямо в снежное мясо, и её чёрные с медной призеленью волосы разметались поверх белого тихого скрипа, как медные, медленные реки. «Ей только десятый год, — думаю я, глядя вдоль её нищего

тела. — Только треть сатурнова года истекла, с тех пор как мать исторгла её из своего мраморного материнского лона. Кто был её матерью? Лесовик? Болотное пнище?» Ручеёк щебёнки из-под проходящего пустого поезда? Здесь много таких, бормочет Скотья Ножка лицом в сугроб, и зелёный ручеёк стекает с плеча на белый мех, распадаясь тонкими шариками, звонкими, как перепевки варакушек в огромных, ветвистых кустах.

Сверху медленно слетает высокий конус снега, рассыпаясь в пыль где-то в полуметре от земли, словно бы натолкнулся на невидимую преграду над нею. Я смотрю вверх, откуда он упал: там, в сплошной белый купол оснеженных ветвей, сквозь открывшееся зияние льются потоки бесконечной ночи, ещё задумчиво, ещё не открывая своих намерений взглядам извне. Так, если в огромном бассейне открыть люк на дне, вода ещё долго будет казаться неподвижной, прежде чем тяга дойдет до её поверхности и образует безумный вихрь — мощную, тугую воронку, взрывающую спокойствие отражённой жизни. До боли в глазах я всматриваюсь в заверченный надо мной океан, который будто бы не замечает меня, увлёкшись открытым пробоем в пологе мелкой земной жизни. Пойдём отсюда, пойдё-оом, — тянет меня за рукав Скотья Ножка. Она забросила волосы наперёд, закрыв ими лицо, и падает на бок всем телом, пытаясь сдвинуть меня с места. Я посмотрю чуть. Не надо, не смотри туда, пойдём, — ухватив, она просовывает мою руку под холодный наплыв волос и больно, до крови кусает за ребро ладони. Шара́, шара́, пойдём.

Ветра нет и не бывает. Мы идём по лесу, как будто бы в огромной зале, между колоннами, разбросанными прихотью архитектора как попало, под то нависающим низко-низко, то возносящимся в холодную высоту куполом: снег сухой, ломкий, сыпется; звонко скрипит под шагами, разносясь в неподвижной тишине далеко по бесчисленным коридорам. Здесь мы остановились, у раздвоенного от корня дерева. Скотья Ножка кидается обметать свисающими рукавами снег у подножья ствола: Есть? Есть? Я смахиваю рукавицей тонкие ошмётки коры и негромко стучу по стволу вверху, потом резко пробиваю мёрзлую труху костяшками пальцев — и вниз, на протянутые ладони Скотьей Ножки скатываются несколько чёрных горошин, похожих на обтёсанные круглые камешки. Я отогрею, — порывисто шепчет она и запихивает камешки в рот, за щёки. Я обнимаю её за плечи и мы молча и долго стоим, чувствуя, как снежный пух сверху постепенно обсыпает нас. На, держи, — Скотья Ножка протягивает мне в ладони два орешка, уже тёплые и обильно увлажнённые её слюной. Я беру их губами, чтобы не снимать рукавиц. Они горькие, похожие на золу.

Мы на коленях, из-за кустов следим: здесь ложбина, и деревья по кругу обступили её, образовав большой, вытянутый в длину зал с

тёмно-высоким навесом. Оттуда, снизу раздаётся тихий треск, как будто кто-то ломает тонкие веточки, но чуть спокойнее и с равным, мерцающим интервалом между потрескиваниями. Потом звук исчезает, а по белому дну овражка проскальзывают неяркие пятна света, числом два, одно за другим, и сразу же треск начинается в другом его конце, немного ближе и громче. Мы лежим, пряча дыханье в снег, как вдруг за нашими спинами что-то шумно вздыхает и щёлкает. Обернувшись, из-под сумасшедшего стука сердца замечаем, что это только снежная горка, громоздившаяся на широких нижних ветках ближней ели, рухнула под собственной тяжестью вниз, а большая еловая лапа, освободившись от груза, увлечённо и мягко качается в полусумраке, задевая соседние ветки. Световое пятно мгновенно проносится мимо нас и исчезает вдали. Я умру? — спрашивает меня Скотья Ножка. Нет, не умрёшь. Она положила голову на мои колени и заглядывает мне в лицо снизу вверх. Её тёмные зрачки расколоты надвое и похожи на разломанные пуговицы: две половинки смещаются, будто кружатся друг с другом, когда она фокусирует взгляд на мне, и, когда свет попадает ей в глаза, сокращаются не одновременно, а словно подтягивая одну к другой посреди почти бесцветной радужки. А небо, оно страшнее смерти? — спрашивает она. Да, небо страшнее смерти, — говорю я, гладя её по голове. А что ещё страшнее? Птицы страшнее смерти? Птицы страшнее, да. Ну, а ещё? А вот, когда с неба светит и снег вот так стоит в воздухе, — она кладёт ребром ладонь на другую, — и струится, и от него запах идёт чёрный, это страшнее смерти? Ну конечно. Я, наклонившись, целую её в мёрзлый белый лоб. Конечно, страшнее, ты разве не знаешь? Знаю. А чего спрашиваешь тогда?

Чтобы веселиться. Она свернула молодую можжевеловую веточку и обвязала её на концах ниткой в подобие бубна. Теперь она танцует на островке утоптанного нашими ногами снега, под козырьком, образованным полуупавшими друг на друга сосенками, танцует, изображая какую-то ей одной лишь внятную сцену. Поскольку бубен условен, постольку же и она лишь корчит рожицы, сдвигая губы и морща лоб, намекая на пение, не то вой, но до слуха моего долетает лишь учащённое и рваное её дыхание и шарканье ног. Разгорячённая танцем, она скидывает пальто, оставшись в свитере и плотных шерстяных штанишках, и пляшет, припевая гортанным сипом, смешно выкручивая руки и тараща глаза; я вижу, как выпирает её зад, обтянутый тёмной тканью, и мелькает придонной рыбой уже полнеющее бедро, идущее назад, к вывернутому наизнанку острому колену. Она падает на сброшенную одежду, задирает ноги и по привычке приглушённо хохочет. «Щекочи», — говорит она, повернув губы ко мне. Я встаю на колени рядом с ней, запускаю холодные пальцы под свитер и щекочу ей смешные хрупкие рёбрышки, горячие увлажнённые

подмышки, бугорки грудей с мягкими, как кремовый мусс, сосками; она заливается вполголоса смехом до слёзного бульканья, извивается, затем замирает тепло и беззвучно. Наклонившись, я прикасаюсь губами к трепещущей ткани её живота, провалившегося глубоко под рёбра.

Голод лижет изнутри наши кости, забирается саднящим угольком в горло, тяжёлым войлоком укрывает голову. В тёмном коридоре между высоких и прямых, как столбы, деревьев Скотья Ножка останавливается и падает спиной мне на руки. Съешь меня, когда я умру. Ты не умрёшь. Или просто съешь. Ведь я животное, не человек. Заколи меня и поешь, пока мясо ещё горячее. Я закрываю ей рот рукой, и она тут же со всей силы кусает мою руку острыми мелкими зубами. Её расколотые зрачки напряжённо всматриваются в моё лицо. Она вздрагивает и падает на четвереньки, черпает сухой, рассыпающийся снег ладонью и набивает им рот до краёв. Впереди, в углублении коридора раздаётся тихий безжизненный треск, и шеренга прозрачных световых пятен медленно проплывает, теряясь вдали, в темноте.

То вьётся след между кустов, то идёт напрямую, уверенно, глухо, иногда теряется под свежей пыльцой снега, но вновь возникает на краю зрения, глубокий и сильный. Скотья Ножка бежит впереди и бешено, почти в отчаянии крутится на месте, нюхая воздух и наклоняясь к сугробам, когда он пропадает. След тянется второй день, он пахнет теплой кровью, льющейся в оглушённое горло, судорожным биением дымящейся плоти, её сводящим скулы железистым ужасом, сдавленным криком, последним потрясённым ударом сердца, уловленным уже языком и губами. Мы идём без сна и роздыха, по плечи в снегу и через густые, смёрзшиеся в металлические гребни ветки кустов. Лес редеет, всё чаще мы жмёмся к деревьям поближе, стараясь не глядеть вокруг и вверх, но след упорно идёт дальше, дальше, к неизбежной язве открытости, перед которой бессильны и жизнь, и смерти наши. И наконец он втекает в непреодолимое белое поле, замёрзшее болото, над которым чёрной облавой расселось пустое звёздное небо. Луна в начальном ущербе ярко осветила этот мёртвый загон: вдали за ним видна кромка леса и почти рядом с нею вмёрзла в смертельную ясность туша, крупная, сильная, всё ещё хранящая аромат крови и жизни, след которого вёл нас сюда.

Скотья Ножка беззвучно плачет, собравшись комочком у моих ног. Я поднимаю её и глажу по лицу; на осунувшейся щеке её хорошо виден свежий шрам, который я наспех зализывал полдня назад. Здесь, под спасительной кромкой последних деревьев нам ничто не угрожает, но путь вперёд уже заказан. Нет ничего, что могло бы выжить под ударами зоркой ночи, ворвавшейся в этот мир и затопившей его, как

дырявую лодку. И даже мёртвые, лишённые крова, под взглядом её умирают особой, новой и бесконечною смертью.

«Надо достать, мы гнали его». Она смотрит на меня с безумным волнением, чуть отстранившись и завернувшись наглухо в истрёпанное до лоскутов пальто. Я хочу схватить её за руку, но она резко и с птичьим бессмысленным криком отталкивает меня. Это наше, надо достать, принести. Тут совсем недалеко. Я снова бросаюсь к ней, но она опять отталкивает меня, падает, подымается снова, начинает медленно отступать задом из-под прикрытия в снежное поле, изглоданное ночью.

Ты же сам говорил, что я не умру. Посмотри, тут нет ничего страшного. Я другая, мне ничего не будет. Она стоит метрах в десяти от меня, под открытым небом, ярко освещённая луной; пальто она распахнула, едва не скинула и громко дышит в морозный серебристый воздух. Мне тут совсем не страшно, правда. Я очень быстро: достану и принесу. Посмотри, ну, мне совсем ничего, совсем. Я же не умру, не умру никогда. Такие не умирают, им не нужно. Видишь? Здесь не плохо и не страшно.

Отсюда видно, как истончились до кости черты её лица, как побледнели и стянулись губы, открывая провал рта. «Я только туда и обратно. Я хотя бы руку отрежу и принесу. Тут нет ничего страшного, ты же сам видишь, правда? Это наше, нам принадлежит. Со мной ничего не случится, я нормально, я хорошо себя чувствую. Туда и сразу назад. Я не умру». Видно, как почернела и набухла кожа вокруг её глаз, словно они обвалились внутрь черепа, а по штанам её между ног расползлось тёмное и парное пятно мочи.

Я кидаюсь к ней под удары льющейся ночи и, прижав к себе, утаскиваю обратно, к деревьям. Она мелко дрожит у меня в объятьях, потом начинает плакать. Всё громче и громче, меж тем как дрожь не унимается и сотрясает её всё более сильными приступами. Наконец, плач её восходит в крик — густой, долгий, животный крик боли. Всё, что я могу теперь, это крепко прижать её к себе, усмиряя её обезумевшее тело, ломающееся в конвульсиях, и держать, пока вся мука и вся жизнь, сплетясь, не вырвутся наружу с воплем и стоном. Но ждать этого придётся долго, быть может, до самого дна этой всемирной ночи.

Le Fossilisation d'Avril

— Ниночка, ты наклонишь мне эту ветку? Ах, какие прекрасные, прямо воздушные цветки на ней! Их аромат так влечёт, так опьяняет сердце. Я, кажется, таких ещё никогда не видала. Хотя, разве вспомнить…

— Да, Любочка, солнышко, я, наверное, скоро смогу увидеть их и почувствовать их запах так же, как ты. Это будет так прекрасно! Я возьму тебя за руку и мы будем вместе сидеть и любоваться этими чудесными цветами — я уверена, что они именно так хороши, как ты говоришь, ведь я во всём тебе доверяю. Но сейчас я вижу, как в наш двор влетели большие яркие птицы: они садятся повсюду на ветки деревьев и начинают петь. Их голоса звучат необычайной музыкой, они чистят друг другу перья, смотрят на меня и поют ещё слаще. У меня даже сердце заходится, хотя…

— Ах, Ниночка, радость моя, как же тебе повезло, что ты слышишь их песни. Они же просто волшебные, так ведь? Если бы только ты могла их напеть, чтобы я тоже услышала и порадовалась. Впрочем, я верю тебе, верю, дорогая, даже больше, чем себе, хотя тонкий до горечи аромат этих цветов заставляет мою голову кружиться всё больше, всё больше, как в танце, они обволакивают меня, дразнят, скользят своими лёгкими, нежно-розовыми лепестками по щеке, по губам… Господи, если бы только если…

— Любочка, mon ange, как славно ты говоришь об этих цветах, я просто задохнулась от восторга, которым наполнили меня твои слова. Мне показалось, будто это я сама их вижу и упиваюсь их благоуханием. Но прошу тебя, золотце, говори чуть погромче: пение этих птиц, оно заполнило собою вокруг всё пространство, надвинулось на меня, как огромная божественная туча, и я уже не могу удержать слёз, не могу, милая. Эта их музыка вливается в меня со всех сторон и выжимает все мои соки, и я дрожу, и глохну, и пою, и рыдаю, я в танце, я в шелесте крыльев, парящее, дальнее, тёмное, звонче, быстрее, вспышка и шопот, как лезвие… Если бы только жаль…

В дверном проёме, где под истлевшей древесиной рамы, кое-как ещё держащейся мокро-щетинистыми лохмотьями, крошился от влаги и времени старый желтоватый бетон, стояла, чуть наклонившись вперёд, сухопарая женщина в изношенном, сползающем лоскутами и вылинявшем до ровной серости детском платьице. Лет ей было с виду за семьдесят, клочки седых волос были управлены сзади в две тугие косички, похожие на наросты пыли и, видимо, большею частью из неё и состоящие. На худом лице её, над губой росла серая щетинка, а кожа была испещрена неправдоподобно глубокими морщинами. В руке, чуть отведя её в сторону, она держала простую фарфоровую широкую чашку в синий горошек, заполненную отвердевшим мусором, по

которому ползал маленький желтоватый скорпион, иногда останавливаясь и забавно двигая кончиком вздёрнутого прозрачного хвоста.

Та, которая сидела на диване, поджав одну ногу, являла собою несколько более живописное зрелище. Она была полноватой старухой в мягких розовых шортиках и футболке, с которой улыбалась растянутая, в трещинах, морда Спанчбоба; на голове у ней была пакля некогда стриженных в каре выцветших волос, которую венчал большой, на удивление не потерявший яркости красный бант. Отдельным предметом любопытства художника стали бы ярко-жёлтые с синевою пятна на лице и крупных руках старухи: они выстраивались в замысловатый лабиринт переходов, пассажей и рекреаций, протянувшийся по всему телу женщины и удачно подчёркнутый многочисленными и разнообразными вкраплениями выступающих капилляров и отёчных всхолмий. Нога, на которую приходилась значительная часть веса женщины, почернела вплоть до колена и, очевидно, отмерла, благодаря чему её сложно было отличить от тёмно-бурых останков матрацев и подушек, сплошной разваленной грудой ветшающих на остове дивана. С другой ноги свисала, игриво покачиваясь на растёртом чуть не до кости пальце, крохотная розовая с белым помпоном тапочка. Один глаз этой женщины был закрыт и вздулся под веком, из-под которого постоянно сочились слёзы, второй же неподвижно смотрел на фотопостер с изображением ангорской кошки, висевший на стене напротив, настолько разбитой и просевшей в труху, что казалось, только этим плакатом её остатки на весу и держатся.

— Любочка, к нам, наверное, сегодня зайдёт Павлик, — донёсся голос изнутри тела стоящей старухи. — У меня есть такое предчувствие. Вот было бы здорово, правда? Мы будем пить кофе, а потом танцевать и слушать, как он передразнивает чужие голоса — это всегда так смешно у него получается. А вы с ним целовались тогда, вечером, на площадке у молочного. Я немножко задержалась и всё видела: он взял тебя за локоть, а ты отвернулась, но руку не вырвала, а он ещё долго стоял и не знал, что делать, а потом вдруг резко наклонился и поцеловал тебя в губы. Это так трогательно, я даже смутилась, глядя на вас, хотя…

По крупному лицу Любочки скользнула едва приметная судорога, а единственный раскрытый глаз её дёрнулся было в сторону, но тут же вернулся к созерцанию плаката. В то же время внутри неё что-то громко задышало и так же резко оборвалось.

— Я была гавайская девушка, — спустя несколько минут заговорило из Любочки, — а он капитан дальних морей, отрок неба и счастья. Море привело его ко мне, когда я сидела на золотом песке и задумчиво и

небрежно глядела вдаль. Как паруса, на мне связки этих больших цветов, как головы дракона. Я украсила его своими драконами, взяла смуглой своей рукою его сильные ладони, ввела его в хижину. Как море поёт, когда есть кому его слышать, так пела я в тот день, и всё вокруг отзывалось дрожащим серебряным ковким звоном, Ниночка, родная, наклони ко мне ветку, — как пахнут эти цветы, хотя и…

Если взглянуть на ноги Ниночки с наиболее выгодной позиции, которую предоставляла обозреваемая ею комната (впрочем, взгляд её был рассеян), то очевиднее становилась геометрическая аномалия, демонстрируемая её искривлённой фигуркой, темнеющей в провале бывшей двери. Ступни её ног параболическою кривою вплывали в тёмные и сырые бетонные плиты, сливаясь с ними совсем не в риторическом порядке, и далее, вверх от непомерно утолщённых щиколоток, ноги её вздымались двумя колоннами, стончившимися кверху, как зачатки шпилей, а уж на них громоздилось слегка подогнутое наперёд тельце старухи, оконтуренное всё с тем же эффектом оплывания, пусть и худощавое само по себе. Плечи её были совсем крошечными и немного как бы съехавшими книзу по боковой линии тела, и столь же непропорционально маленькой сидела поверх всего этого её голова с иссохшимся и как-то стянутым в щёлку, словно замазанным глиною, ртом. На правой ноге её, под самою икрою, виднелось небольшое утолщение, похожее по форме поверхностной структуры на сетку-рабицу, присмотревшись к которому всякий интересующийся заметил бы колонию маленьких серых паучков, выбегающих из этой «фермы» небольшими группками то вверх, по старушке, то вниз, растекаясь по плитам пола, в поисках пищи и своих паучьих страстей. Эта конструкция, стало быть, создана была из их слюны и срыгнутой, не переваренной вполне еды, а также специальной секреции, придающей устойчивость камня их «ферме». Прекрасная, удивительная форма; сложный, но целостный фрактальный ансамбль.

С потолка с протяжным шуршанием на лицо Ниночки падает небольшой отколовшийся кусочек бетона и оцарапывает ей нос — вслед за тем, как бы поразмыслив минуту, некое подобие крови, густой и тёмной, как засахаренное варенье, вытекает из неглубокого надреза, застывая янтарной капелькой. Спустя ещё немного времени сизая, скрипящая хитиновыми щитками жужелица кружится рядом с набрякшей каплей и, остановившись, устроившись поудобнее, сосёт маслянистую снедь, подёргивая брюшком. Изнутри бедра Ниночки доносится визгливый крысиный писк, и умный носик крысёнка вываливается наружу и пробует холодный воздух. Внутри неё больше воображением, чем взглядом угадывается бесплодное усилие какого-то движения, усилие, настолько привыкшее быть бесплодным, что просыпается лишь

по заведённому некогда ритму в иллюзии пускай бы и механической надобности.

— Мы плыли на катамаране, в аквапарке, — гулко звучит голос из недр Ниночки. — Я совсем не успевала за ним крутить педали, и к тому же он постоянно рассказывал что-то забавное, так что я просто сгибалась от смеха. Наш катамаран всё время закруживался на мою сторону, а один раз даже чуть не опрокинулся, — мне так показалось, и я даже завизжала от страха. А потом — мы гуляли по лесопосадке, уже вечером, мне стало зябко, и он укрыл меня ветровкой, так нежно. Ах, Любочка, так нежно, почему я не коснулась его рукой? Моя рука была из какой-то нездешней ваты, я протянула её — и она упала струёй воды, я прижала её к груди — и она оплела меня белёсыми скользкими корнями. Мы были в зале большого ресторана, он сидел напротив и нет… Нет-нет, это я шла по мосту, совсем как слепая, и только в последний момент увидела, как эта машина неслась на меня на бешеной скорости, я бы просто не успела… Любочка, голубка, так нежно, если бы только и…

— Ниночка, сердце моё, я жалею о тебе, — вторит, как эхо, из глубины Любочки. — Я была жрицей в индийском храме, и каждое утро, когда звонил большой колокол, я раскладывала еду и цветы на алтаре, бережно умывала статую бога и возжигала вокруг терпкие, режущие глаз курения. После я умывалась сама и натирала ароматным маслом руки и груди, а затем шла в селение купить молока и сыру. Там был овраг, и плетёные пастушьи хатки врастали в наплывающий рукав рощицы, живые ветки поднимали рубленный частокол и делились с ним своими могучими, древними соками, так что лес продолжался крышей, столбцами калитки, брошенной рукоятью кнута… Дорога вдруг заворачивала, и страшное тёмное… я скидывала ладонью назад волосы, и громкое палое… Что-то глазело на меня оттуда, с щемящим и утяжелявшим мои ноги вожделением, что-то вязкое жгучее, рыхлило кусты и траву, завлекало ноющей тенью. Сняв с плеча, я ставила кувшин на землю, выпрямляла спину, поправив чоли и выставив руки вперёд, встречала подымавшийся мне навстречу вихрь, сильный и страшный, сильный и страшный. Он сорвал меня, как срывают созревший плод, и горячая глотка в окружении сотен стальных зубов навсегда затмила мне небо. Боже мой, если бы если…

Несколько мощных, гулких ударов вдруг сотрясло комнату: где-то просы́палось ручьями крошево, зазвенело стекло, стоящую Ниночку слегка повело в сторону и обратно. Из пробитой стены в соседней комнате хлынул серый свет, равнодушный и совершенно глухой. И тут же — новый удар и хруст бетона, от вибраций стена с постером окончательно свалилась вниз, подняв белёсую пыль. Рука Ниночки треснула и разлетелась мелкою крошкою, чашка, которую она держала,

упала на пол, но отчего-то не разбилась. По телу старухи, сидевшей на диване, от удара пробежала быстрая волна, и розовая тапочка аккуратно слетела с её вздрогнувшего пальца. Новый удар буквально взорвал ей брюхо, и из-под детской футболки полилось тёмное гнилостное желе, заливая ей ноги и пол. Ковш демолятора проскрежетал рядом, дробя старый бетон, блестя металлом в разгромленный сумрак комнаты.

— Любочка, ты слышишь это? — со свистом нездешнего ветра донеслось из обрубка Ниночки. — Мои птицы, они уносят меня далеко от тебя, моя радость, далеко и навсегда, они поют мне бесконечный свет, который бьётся как живой там, вдали. Ведь я — птичья королева, мне нельзя оставаться на одном месте. Эти воздушные песни напитали меня такой божественной лёгкостью, что я не в силах больше держаться за твёрдую землю. Горе оставшимся на земле, горе! Горе неслышащим, тем, чьи уши заложены ватой мира, горе тем, кто не слышит последнего шелеста крыльев, чья душа неподъёмна в пыли земной. Ах, как же кружится моя голова!..

От очередного удара ковша, сотрясшего остатки комнаты, маленькая голова Ниночки закачалась на истончившейся шее и упала вперёд неё, раздробив лицо и расколовшись надвое; лишь тонкие пыльные косы её торчали кверху, как антенны первого космического спутника. Следом за тем её грушевидное тело соскользнуло со шпилеобразных ног и грохнулось рядом с головой, удивительным образом сохранив целостность. Ковшом раздробило потолок, и большой осколок бетонной плиты углом вонзился в пол, разделив старух. Сверкающие зубцы ковша, проходя поверх комнаты, слегка задели голову сидевшей Любочки, и она лопнула, как перезревший, гниющий томат, превратившись в мясистую лужу на струпьях дивана.

— О, цвет всевышнего, о, неисповедимый аромат! — забулькало из гнилостной лужи, оставленной Любочкой после себя. — Прощай, Ниночка, прощай, душа моя! Во мне не осталось места для земного. Сладчайший запах этих цветов заполнил меня всю, и мне уже негде укрыться от истины. Я растворяюсь в ней; быть собой — это мука и зло. Я пла́чу, я парю, я след его величия и красоты. Узнайте меня, ибо я первая и последняя… Ах, отрешённое…

И могучий удар наконец смёл их в пыльное облако, бесконечно падающее в пустоту.

*

В чёрном небе, над серою кромкою горизонта, распускается что-то чудесное. Лёгкая, едва различимая туманность, чем выше, понемногу нарастает, приобретая цвет, и здесь же начинает распадаться на разноцветные волокна, переливающиеся в сгустившейся пустоте.

Красные, синие, зелёные, разной длины и силы свечения, сплетаясь в плотную паутину, они образуют некий ромб или цветок с тесно сомкнутыми лепестками, который захватывает две трети высоты неба, оканчиваясь высоко в зените. Всё остальное небо пусто, лишь отдельные блёклые звёзды пробиваются слишком далёким светом сюда, на серую каменистую поверхность, освещённую бледным, умирающим и тоже далёким солнцем. Туманность играет цветом настолько контрастно в отношении всего окружающего, что кажется, будто это она хищно всосала в себя весь цвет и всю жизнь, всю силу этого мира.

Ниже, посреди пустыни, в окружении белёсых камней, обломков скал и валунов — две высокие угловатые фигуры со стёртыми лицами, один вооружённый молотом, другой — длинным ломом. Оба они стоят поодаль друг от друга и методично, с широким замахом, дробят бледные камни. Ни усталости, ни сильного страдания нет в их движениях, только бесконечная досада, будто им приказано исполнять что-то нелепое, чего избежать им уже невозможно, хотя, должно быть, и было возможным когда-то. Их фигуры черны, и сами они словно покрыты неким искусственным материалом, поглощающим слабый свет и отторгающим пыль и всё, что может загрязнить их.

Иногда по их телу пробегает еле заметная пульсирующая волна, тогда они останавливаются и замирают на время. И кажется, будто этот визуальный глитч их поверхности резонирует с перемещениями цвета внутри ромбовидной туманности, сияющей в небе.

Один из них, снаряжённый увесистым ломом, пристроился около треугольного обломка скалы, и долбит по широкой скошенной грани, залитой бледным светом. Его воображаемые глаза угадывают в игре света и тени, возникающей на выщербленной поверхности камня, то великолепные узоры, то картины с различными фигурами и объектами. Вот цветок с широкими листьями, выбросивший метёлку вверх, за самый край скола. Удар лома. Вот голова лошади. Ещё удар. Вот две человеческие фигурки, сидящая и стоящая.

— Доколе нам долбсти сию срань, Хорг? — говорит он, поворачиваясь к своему напарнику.

Тот вдалеке останавливается, кладёт молот на землю.

— Дондеже есве, Морг, — отвечает он, прикрывая рукою то, что могло быть лицом. — Тако пиздец бысть сый.

— Тьфу, — в сердцах говорит Морг и бьёт ломом по камню (вот летящие клином птицы). — Зде каляющеся во кале сицем, хуй воскласти на нь хощю.

Он втыкает лом в землю и, глядя на отколовшийся кусок камня, замахивается ногой и с невероятной силой пинает его. Сколотый

камень отрывается от земли и летит в черноте неба далеко, далеко, направляясь прямо в центр сияющей всеми цветами туманности.

В барочный полдень

Маша сидели на качалке и размышляли. Арсений ей нравился: высокий, стройный, с редким и неожиданным в нашу эру благородством на морде, — но что же с ним делать? Сезоны охоты уже с месяц как прошли, Маша собственноручно забили двух самок и самца в пойме за Цной, и сейчас было бы неловко заново устроить загон, да и память её тела всё ещё была пресыщена этим волшебным удовольствием охотника. Возможно, есть какой-нибудь способ применить, думали она. Добыть пытчика? Но к пыткам её душа ничуть не лежала, в пытке нет той состязательности, которая так приятна её божественному сердцу.

Она встали и обошли Арсения кругом, заглядывая снизу ему в рыло и оценивающе скользя глазами по крутой холке и поджарым, изящным лапам. Затем кликнули петрушку и велели отвести Арсения в стойло и дать отрубей и водки. Короткий день угасал, Маша захотели прогуляться по зимнему саду и чирикнуть в твиттер забавное о Путине.

Ах, вышли бы сейчас из-под земли герои, проснулся бы старец в горе, раскололся бы надвое старый камень в соборе хмурой Уппсалы, милый Гитлер вернулся б на ревущей вимане из сказочной Антарктиды! Какая она всё же девочка до сих пор, подумали Маша о себе в третьем лице и рассмеялись этой находке.

В детской её по привычке окружили игрушки давно ушедшего времени: чёрный маленький лев со спиленными зубами, двухголовая сова, набор свирепых африканских муравьёв-карателей в латунных доспехах. «Что это у тебя?» — спросили она у зеркального карпа, раздеваясь перед вечерней ванной. «Моё лицо», — ответил он. «Что же сонное? Пойди выспись». Две сильные негритянки подхватили её обнажённое тело на плечи и понесли, как античную вазу, в соседний зал.

«Читайте мне из Авесты», — сказали Маша, вытянувшись в ванной и прикрыв глаза. Одна негритянка встала у выключенного фонтанчика и начала читать наугад с планшета, множа гортанное эхо в пустом зале:

Мы почитаем Митру…
Несущего возмездье,

Ведущего войска,
Владыку тыщеумного,
Властителя всеведущего.
Он битву начинает,
Выстаивает в битве,
Выстаивая в битве,
Ломает войска строй;
И все края волнуются
На бой идущих войск,
Трепещет середина
У войска кровожадного;
Несёт им властный ужас,
Несёт им властный страх,
Он прочь башки швыряет
Людей, неверных слову;
Долой башки слетают
Людей, неверных слову…

«Башки… слетают…» — тихо бормочут Маша, полусонно покачиваясь в воде.

Их хижины сметает,
Жилища нежилые,
Где прежде обитали
Нарушившие слово,
Лжецы, что убивали
Поистине правдивых;
Дорогой пыльной гонят
Нарушившие слово
Коров с обильных пастбищ
За колесницей следом,
И те слезами давятся,
Стекающими с морд…

«С морд», — прошептали Маша, медвяно ускользая под воду, и её латунные волосы, разостлавшись по воде, сплетались с розовыми лепестками, плавающими по зеленоватой глади, как боевой флот на старинной гравюре.

Проснувшись утром, она сразу поняли свой возвышенный замысел и, приободрённая этим, одели любимый жокейский костюм, чёрно-белый, с плотным шерстяным фраком, который, несмотря на потепление, был всё же ужасно зябок. Едва выскочив из спальни, она столкнулись в дверях со Шнеерзоном, который почтительно поклонился, уткнув лицо в бороду, и, только бросив взгляд на её одежду, тонко пропел: «Велеть запречь Русопята?» — «И сейчас же, голубчик!» — воскликнули Маша, пробежав пальчиками в узких перчатках по его

лысине. Мигом, оставив прислугу, она промчались через оснеженный двор к мраморной беседке, где ещё в начале осени был обнаружен некий карл, распорядитель торжеств и верховный администратор имения. На которого всегда можно было и следовало бы положиться, но, боже, где он? Маша ищут его в золотых кустах, что растут вокруг беседки, но нет его там, смотрят в зачем-то сваленных рядом грудой промокших и подгнивающих журналах, ворочая их носком ботинки, но не находят его и в прессе. «Карл, Карл!» Быть может, он в земле пустой? Там, где солнце, и надо копать? Не тщетно ли это предположение?

— Оно тщетно, — говорит Карл.

Вот он гуляет, в совершенно не тронутом тлением виде, заложив крохотные ручки за спину, в тёмном вельветовом пиджачке и лакированных туфлях. Снега́, ему по колено, не взволновали его, а угроза кометы или землетрясения, ежечасно преследующая человечество, заставила бы лишь ухмыльнуться, — черта отменного администратора.

— Карл, — сказали Маша, присев перед ним на корточки, — ангар наш пуст?

— Прошлой ночью в нем ночевало двенадцать таджиков. Это далеко не предел, как вы догадываетесь, юная госпожа: вместительность ангара устрашающа.

— Пустое, Карл, пустое, прожектёрство не имеет глобальной перспективы. The only Providence we know — the Lights below. Очистите ангар от посторонних предметов, приготовьте его, и вот ещё что, Карл, — она понизили голос и невольно оглянулись: — жив ли мой Сын, ну, в Котором моё благоволение?

— Младенчик-то, берёзовенький наш? — кто бы ожидал такого умиления в столь невозмутимом и всё ещё пахнущем земной сыростью администраторе? — Жив, жив, слава-те господи, бережёного бог бережёт. Живее живого, спаси всех господи, юная госпожа. Наше Наследие, лубяной целовальничек! Уж мы досмотрим-то, что же. У семи нянек за пазухой кататься будет! Егоза ж ты моя!

— Растёт?

— Как на грибах, моя радость. Во всех направлениях! В окружности достигает впечатлительнейших успехов.

— Приготовьте Младенца, омойте Его водами чистыми и препоясайте Его чресла. Сегодня я одарю Его пустышкой.

Луга, побитые тонким снегом, парили с утра: туман клочьями подвисал низко над землёй и слегка серебрился на дневном свету. Лёгкой аллейкой взбегавши к имению, деревья сквозили белизною

свежеободранных стволов, между которыми разошлись путанные лисьи ходы. Чуть ниже, угловато укутавшись в полушубок, Шнеерзон держал под уздцы коня. Конь был серый, с точёной шеей и тонконогий, он заметно дрожал от утренней зимней свежести и предчувствий. Маша привычно погладили его ладонью по губам и щеке и, прижавшись к его телу, по-беличьи втекли в седло.

Боги знают, что такое русская скачка в снегах. Прежде всего, ты воистину должен отрешиться от земли и тлена её, оставить отца и братьев, если по какой-то причине не успел сделать этого раньше, забыть своё имя, пароль от живого журнала и те обстоятельства, при которых действующая власть потеряла легитимность и доверие граждан. Далее, в качестве обязательного, назови необходимость того, чтобы всё, оставленное позади тебя, всё то, от чьего праха ты отряс ступни ног своих, было немедленно и безо всякой уведомительной процедуры предано огню, который не заставит себя ждать и уже неоднократно демонстрировал такую беспримерную готовность. После того как ты убедишься, что возвращаться тебе некуда, незачем и неохота, обрати же, наконец, прояснённый этим новым знанием взгляд вперёд. Впереди — снега́. От тёмной середины земли в тёмную середину ночи они разостлались молодым налётом, воздушной немецкой простудой под невосходящим солнцем. Кто-то скажет, что это, дескать, осадочные мероприятия, упомянет в опрометчивой глоссолалии своей законы природы, которым якобы следует вещество воды, чей химический состав прежде не мешало бы уточнить, приведёт иконографию кристаллов, забывая, что труд, вложенный в них, заслуживает несомненно большего уважения. Вчувствуйтесь в эту ложь. Всё это делается с той единственной целью, чтобы заставить вас поверить, что вы столкнулись с явлением рядовым, а в первую очередь — преходящим. Силы зла, очевидно стоящие за подобного рода полунамёками, таким образом пытаются внушить вам, что перемена ультимативна и неизбежна, что снега могут и непременно должны растаять при соблюдении известных условий и, стало быть, не стоит возлагать на них те надежды, которыми обременены миллионы из нас. Это, как отмечено выше, ложь. Есть снег, который не тает. Есть. И он не тает, чёрт возьми. Десятки, сотни тысяч экспериментов, свидетельства независимых наблюдателей, разумная гниль академий, шёпот тонкого страха, ночное гадание, вшестером, по шрифту webdings, взрывы в Семипалатинске и на Новой Земле, травля молоссами, BWV 569, микенский портик, тирамису… Не тает. Был случай, когда в снег уронили быка. И ничего не случилось.

Бёдра Маши жарко срослись с лошадиной густою плотью. Русопят дышит глубоко, раздвигая влажными огненными боками ей ноги, поворачивает

голову чуть влево и косит на неё круглым раззадоренным глазом, как обратный сиамский близнец, очнувшийся после операции с сестрой в одном теле. Сестра говорит ему: «Йе, уа хамех!» Её тонкие воды вливаются в поток его крови, и та вскипает звонко и жадно и брызжет горячей росой ему в горло, в живот и в губы. Огромное, как туча, сердце Русопята, наконец, выталкивает жгучую кровь в тело Маши, где она разливается, подобно варварской армии в павшем городе, почтительно сокрушая его дома и святыни. Маша ограбленно раскрывают глаза в снегах. Ей снится, как в мягком касаньи, всё ускоряясь, несётся земля под её ногами. Она опускают их медленно, вытянув носочки вниз, наощупь находят небольшой пружинящий ком и едва лишь кончиками пальцев толкают его в никуда, наружу. Большой властный шар пространства пульсирует в такт с их общей кровью, горько сжимает их воспалённое тело, рвущееся вперёд в стремительной неподвижности. Не справляясь с удвоенным дыханием, Маша звонко кричат в тугую белую стену и тотчас с конечным усилием прорываются сквозь неё в оглушённую долину с сумеречными деревьями, наполненную людьми и работой.

Недалеко, метрах в тридцати, оброчные фермеры столпились под широким, усаженным гнёздами омел деревом: их привлекла крупная самка, угодившая почему-то задом в медвежий капкан, который пропорол ей ногу вверх до самого брюха. Чуть дальше, за бледносерым контуром сосен виднеется угол особняка с островерхой крышей флигеля, а здесь, в отдаленьи, огромный синий куб ангара тяжко проседает в пространство, натянув до упругих складок его полотно. Ангар сплошной, металлический, вокруг него и внутри, распахнув настежь огромные ворота, суетятся очень маленькие рабочие, крохотные, как дуновение, в зелёных и синих комбинезончиках, шитых на козявочные плечи. Ими командует, стоя на ореховом стуле, карлик в чёрном костюме с провалившимися под землю глазами, рвано выкрикивая ценные указания в рацию.

— Камеры установлены, госпожа, — говорит он осипшим голосом. — Ангар зачищен и готов к эксплоатации.

— Славно, Карл, — Маша целуют его в подземный носик и рассеянно оглядываются по сторонам. — А где, этот… Вчерашнего приведите, ну.

Ведут. Маша на этот раз подбегают и ощупывают его пальцами, гладят по красивой морде, сжимают рукой стальные мускулы бедер. «Хорошо», — говорят она, слабо улыбаясь. — «Добрая игра будет». Арсений поёживается на холодном воздухе, солнце, раздумав, так и не взошло, и всю природу обставило серой низкой моросью. Ему поднесли водки для бодрости и дали кусочек брюквы, затем две петрушки взяли его под руки и скоро отвели в ангар, заперев внутри за дверью.

— Мой Сын? — в возбуждённой растерянности спросили Маша, окидывая пустоты пространства лёгкими глазами.

— Готов ко всему.

— Ну. Пустите Малыша! — воскликнули она, и карлик в то же мгновенье выстрелил из стартового пистолета, распугав окрест воробьёв.

Из-за недальнего холма послышался ровный гул, шум, выбежали люди, галдя наперебой и перебегая из стороны в сторону, следом земля стала легко трястись под ногами в ровном такте, всё бывшее здесь остановилось. Шёл огромный Младенец, метров под десять ростом, румяный от свежести, со здоровым и юрким взглядом, смешливый, как все младенцы. Его держали люди на цепях, крепившихся сверху к манишке и пониже к поясу подгузника, вели аккуратно и уверенно, да, впрочем, он и не порывался сбежать. Группа частного ТВ, развернув автобус, стала снимать торжественный ход, перед ними очутился Карл, охотно начав комментировать происходящее. Ребёнок, по его словам, хорошо питается и уже набрал более восьми тонн веса, растёт здоровым и не капризным. Яркие подвижные игры, подчеркнул Карл, вроде той, счастливыми свидетелями которой мы в настоящий момент являемся, крайне благотворно влияют на развитие детей в этом возрасте, дают им ощущение полноты собственного существования, формируют независимость и целеустремленность личности. Очень важным также является эмоциональное и физическое участие родителей и других близких людей, с которыми младенец пребывает в контакте, особенно когда речь идёт о матери, общество которой на данном этапе развития является едва ли не решающим.

Маша подбежали к столику с панелью, на которую выводилось изображение от камер внутри ангара. Пощёлкав переключателем, она нашли фигуру Арсения, который стоял, прислонившись спиной к стенке ангара, и рассматривал свои ладони. Нетерпеливо она махнули рукой, жадно присосавшись к изображению на экране, и люди, распахнув большие ворота, ловко ввели Малыша внутрь, закрыв за ним створки синего куба.

У Арсения было время собраться с мыслями, подумать, что и как делать дальше. Он всё думал, что звери, от которых он спрятался здесь, рано или поздно сбегут, наскучив ожиданием. В конце концов, прибудут охотники, отобьют, распугают. Ещё в конце концов, есть же и Санэпидемстанция, которая всегда, мы должны это учесть, всегда приходит на выручку тем, кто оказался в такой отчаянной ситуации, беспомощным и загнанным в угол. Это их прямая обязанность, им за это деньги платят. Между прочим. Звери за стенкой выли, царапались, грохотали, потом немного поутихли. Арсений вообразил, что это поспели доблестные воины Санэпидемстанции, в масках, в

костюмах химзащиты, они распыляют опасную отраву прямо в пасть зверям, и уже скоро земля будет от них очищена. Тогда снова будем жить. Арсений утверждал, что он будет жить до восьмидесяти одного года, и верил любому предсказанию, которое подтверждало его бессловесное убеждение.

Поэтому, когда открылась огромная дверь, он подумал, что это спасатель-эпидемиолог, получающий в его лице награду за труд и мужество, но перед ним объявилось нечто безвыходно ужасное, чему он не находил объяснения в своём способе видеть вещи. Нечто звериное от земли до неба расселось перед его глазами, оглушив его чудовищным звуком и смрадом, и, пока он лишь оценивал то, что ему открылось в перспективе, оно протянуло вперёд адскую мшаную лапу и опустило ночь на его бедную голову.

Маша во внезапной досаде и гневе отпрянули от монитора и резко отвернулись.

— Блядь, — нечаянно вырвалось у неё. — Ну зачем?

Отойдя в сторону, она пнули большой комок земли, испачкав тонкие спортивные брючки, и неожиданно для себя расплакались. В сцене было что-то отвратительное: сильный, умный самец, редкостной породы, ему ничего не стоило ведь отпрыгнуть тотчас в сторону, он должен был защищать себя, нападать, должен был разогреть Малыша и втянуть его в игру. А тут… меньше секунды — и в ничто. Как будто во всём мире не хватило жизни на одно лишь движение.

Можно было пригнуться и отбежать вперёд, там не достал бы так быстро. Блин, можно было просто в сторону отпрыгнуть, там же места столько… Она по десятку раз переигрывали сцену, представляя себя на том самом месте, и неизменно находили множество беспроигрышных вариантов. Нет, всё здесь не так, все врут, никто не хочет работать. Гнусная, глупая механика — ничего более. Телефон дребезжал, смс-ка, Кейт писала «Маш выбирайся летим завтра на пелорус». Весь огромный мир напротив, с его звёздами и архангелами, с миллиардами лет без просвету и без вздоха, всей этой мощи, и тьмы, и сияния не хватило, чтобы сделать один только шаг в сторону. Плачущими руками Маша написали в ответ: «сука иди нахуй», — и, затаившись на пару мгновений, набрав дыхания и крепко зажмурившись, нажали OK.

Семь эпизодов из истории наблюдений

Семеро топталось у порога универмага ещё с утра, как будто ожидая, что вот сейчас уж точно озарение низойдёт хотя бы на избранных. Лица прятали, словно краденые. Обходили их далеко стороной, ну, видно же, что не в себе люди. Одного затоптали вусмерть. Осталось шестеро.

Но к ночи все подходы к аэропорту перекрыла полиция, сирены пожарных и скорых долго ещё гудели за окнами. Чёрт, это надо же было видеть. При взлёте самолёт как-то даже изогнулся, выломался посередине и уверенно пропахал носом взлётную полосу, а хвост подбросило и перевернуло, прямо в воздухе. Изо всех, кто летел этим рейсом, только шесть человек чудом каким-то уцелело. Повезли в ЦБ, но там уже посчитали, что среди шести один, к сожалению, труп. Вот как можно было труп принять за живого человека, не понимаю, он что, кричал, махал руками, на помощь звал? Так что, пятеро только.

По действующему нормативу, для сопровождения груза по территории как раз и выделяют пять человек охраны, имеющих при себе табельное оружие и лицензию на отстрел автохтонов. Однако в районе Бердянска произошло вот что: один из пятерых был проигран в карты команде турецкого сухогруза, следующего в Трабзон. Дальнейшая, как вы говорите? судьба? Судьба, хмм… Есть кое-какие сведения, что его именем была названа улица в египетском Файюме, но, сами понимаете… Короче, в место доставки груз прибыл в сопровождении четырёх.

Впрочем, вчетвером можно играть в маджонг, ну, то есть, идеально вообще. Тёплый вечер, ласточки, немного вина, лёгкий сладковатый дым юньнаньской травы. Победивший обычно берёт банк и расплачивается за всех, да и ему порядочно остаётся. Но не в этот раз. В этот раз победителя долго и азартно возили мордой по ящику с костями, затем проткнули шампурами ключицу и голень, прожгли спину. Затем, бессознательного, его положили в деревянную тележку и, поджёгши её, спустили вниз по дороге, обходившей гору с запада. На повороте горящая в закатных лучах солнца тележка перескочила через невысокий бордюр и плавно улетела с обрыва в ущелье, глубина которому — десять тысяч ли. Зачем? Ну, кто станет доискиваться причин в такой восхитительный вечер. Трое их было, трое.

На берегу румяных русских рек, там сидели они и удили рыбу, втроём, как троерукая богородица. Рыбе в воде зябко: она видит тайные города глубоко внутри земли, прозрачные, как жар, скользящие города, куда её никогда не пустят. Потому что рыба никто, её жизнь пуста и не ценнее блестяшки, она знает об этом. Но она всё ещё может выбирать: из трёх поплавков один, из трёх блёсен одну, самую желанную. Что цена этому выбору — жизнь, рыбе плевать, она всё обдумала. Жизнь рыбы мельче песчинки в пустоте дальней и

тёмной вселенной, и поэтому это хорошая сделка, даже с прибылью. Когда же клюнуло, один заметил это вслух, второй авторитетно подтвердил это собственным мнением, но действий, подобающих случаю, не воспоследовало. Заглянув парою часов позже в лицо третьему, они увидели, что от тела его осталась лишь тонкая сухая оболочка, похожая на высушенный листок из гербария, под которой медленно и слабо струился бесцветный жар, растворяясь в воздухе. Пришлось возвращаться с рыбалки вдвоём.

«Дорогой друг, — писал, вернувшись, один из них. — Сотни лет назад, когда мы были юны и полны стремительнейших устремлений, кому-то взбрело в голову связать нас единым озарением, держась в котором, мы проходили миры, как двери пустого дома, открывая их ударом армейского сапога. Но мы нигде не встретили его хозяев, быть может, их повесили во дворе заезжие грабители. Быть может, дом выставлен на продажу, впрочем, я нигде не встречал объявлений. Я бы и купил, да, признаться, я уже не хочу умирать — даже в собственном доме». «Война слепа, как девочка, рождённая в центре Земли, — говорилось в другом письме. — Видал я таких: идёт она по наводнённой людьми улице, и всё её тело — лишь догадка окружающего её мира о том, какова она, лишь страх, побуждающий пространство вокруг расступиться, бежать, освобождая ей место. Кто-нибудь обязательно всё же замешкается и встретит её лицом к, допустим, лицу, тут-то всё и начнётся». «Есть сокровенная Антарктида в моих словах, поверь им. Если птица называет гнездо своим домом, то любой с лёгкостью свернёт ей шею (и будет прав), если птица считает своим домом крылья, то ядовитые травы космоса напоят её, одурманят и увлекут к себе. Но лишь та птица, которая обрела себе дом в падении, озаряет мир отблеском настоящего света». Письма уходили, не возвращались, не получали ответа. Много лет спустя он с некоторым запозданием заметил, что раз нет ответа, то и адресата тоже уже, видимо, никакого нет. Теперь только он один.

Вот кого нам всегда не хватало. Ночи, нежно-прозрачные, цветущий сад сам из себя выпускает грозу: не грозу-убийцу, что разбивает с налёту колонну каменных воинов, кроит континенты и топит в вековой тьме остров неразумных лемуров, — маленькую ручную грозочку, висящую среди веток всеми порами расцветшего абрикоса. Он кутается от наступающей свежести в шерстяной свитер и курит, прикрываясь ладонью, одну за другой. В руке у нас лучший подарок: шесть небольших металлических сфер неизвестного происхождения. Наука людей со злобной ухмылкой хранит такие артефакты, как приманку, на которую рады сбежаться наивно воодушевлённые внезапной своей удачей профаны. Тут-то их и настигает нежданная кара. Горькая его слюна и пахнет перебродившими яблоками вперемешку с золой. Мы

вышли из сада, дабы приветствовать его, но вот, нам уже надоело его целовать, и мы запускаем руку внутрь его слепого и взрытого тела, глубоко в грудь проникаем пальцами и вынимаем под дождь тяжёлый железный шарик, седьмой к шести. Есть жестокая правда в этих словах: невелико геройство — валяться бесхозным предметом на Земле, гнить и сочиться, так каждый может. Да, но то Земля. Совсем другое дело, как нам известно. Вот уже и заря занялась. Сейчас мы положим добытое в карман и отправимся по своим делам, как и эти когда-то. Под воздействием блуждающих звёзд они, говорят, завершили свой пустой путь. Ну-ну, завершили. Ну-ну.

Presenza

Их не предупредили, что завод находился в таких невыгодных для пешехода условиях, что пройти к нему после дождя не было возможности ещё несколько дней. Автобус останавливался напротив бывшего универсама, а оттуда по непролазной тропе нужно было минимум полчаса идти, если это так называется, до ворот завода. Между тем ещё и слегка моросило с неба в этот день, что только добавляло ощущений тупых и безрадостных. В этот момент некоторое прошлое, имевшееся за плечами этих шестнадцати человек, мы отсекаем и оставляем их как бы выброшенными из ночи безвестности прямо посреди этой хляби, сосредоточенно, уставившись носом в серую грязь, по ней же и прыгающими в тщетных попытках закрепить хоть один шаг на земле. Это земля, и её основательно развезло.

Второе, слов на ветер, которого, стоит заметить, что к счастью, не наблюдается, они не бросают, сло́ва им ещё не давали. Пусть идут, куда шли, молча, разговоры обычно рассредоточивают, и человек скользит, падает в лужу и чаще всего там же и остаётся. Мы не будем мириться с потерями, даже возможными, воображаемыми, статистическими, наш ли это путь, нет.

Затем, в-четвёртых, это люди, не нужно забывать простые истины, и если они что-то делают, куда-то совместно идут или хотя бы отчасти осознают меж собою некую мгновенную общность, то это не пустой звук, это что-нибудь да значит. И понятно, коль речь не идёт о собственной воле — а о какой свободной воле можно говорить, видя, как человек, такой же, как вы или, позволю себе упростить, я, внезапно, из ниоткуда, минуя все свои любови, страдания и обманутые, как у них водится, надежды, оказывается в четвёртом часу отвратительного дня на разъехавшейся от вселенской мокроты

дороге к заводу, выпускавшему стрелочную продукцию для сбыта на узбекистанском рынке? — коли речь не о ней, повторюсь, не о свободе воли, то это, конечно, судьба. Вот каков смысл происходящего. Желающего судьба ведёт, а нежелающего, извольте видеть, тащит. Повозмущайтесь ещё.

И о хорошем. Иные двери, даже если стучать в них долго, кулаками, впятером, не откроются никогда. Из десятка человек непременно найдётся один, кто захочет и в такой ситуации выкобениться и соврёт, что умеет пользоваться отмычкой. Но, даже если бы и умел, — замок не поддастся. Применение взрывчатых веществ — а они наготове у каждого третьего, посмотрите, как они отводят глаза, — послужит разве что делу психологической разрядки, но не сдвинет искомую дверь ни на мизинец. Всё будет напрасно, и это совсем не редкость, увы: почитайте Ленту.ру, к примеру, там постоянно происходит что-то ужасное. Но этот случай — счастливый. Ворота, ведущие на территорию завода, откроются от первого толчка с необыкновенной лёгкостью: ворота эти никогда и не запирались, поймите, их просто незачем было запирать. И всею размокшей кавалькадой все эти шестнадцать человек, эти, не побоюсь этого слова, шестнадцать пилигримов, мужеского и женского полу, попарно, рядами, как пионеры той стороны Земли, вся эта рать безо всяких стеснений втечёт внутрь заводского двора. А только этого нам и не хватало.

Маленькая толстая девушка посмотрела направо, на идущего по правую от неё руку высокого мужчину лет сорока. Его уже редковатые потемневшие волосы прилипли влажными прядями к широкому черепу, а по резко вычерченному длинному лицу текли крупные капли влаги, которые он время от времени вытирал руками. Эти руки, тёмные и костистые, отвлекли её внимание от страха происходящего, она доверилась им ещё там, на остановке, едва сойдя с подножки автобуса, и шла за ними покорно и тихо. Она думала, что нашла в них ту опору, прислонившись к которой, она сумеет переждать, затаиться на время, пока эта персональная неизвестность события втягивает в себя её жизнь, её чувство и мелкий безропотный страх, из которого вся она, как кукла, была слеплена. В автобусе тогда всё качалось, как в дымке, и казалось ватным, бестолковым, что ли, она сама качалась на поручне у окна, за которым ничего не было видно из-за надышанного пота с этой и грязных потёков с той стороны. Качаясь, она пыталась выбраться из дурной оболочки какой-то мысли, чужой и невнятной, но всякий раз соскальзывала и снова устало замирала в покачивании и ватной ноющей хмари. От людей и от их такого же судорожного шевеления она иногда вскидывалась в тревоге, но ещё больше пугалась силы, вызывавшей её тревогу, и уже

с облегчением проваливалась обратно, в свой качающийся сухой наркоз. Она, должно быть, всё пробовала вспомнить, как её, идущую с пары в лабораторный корпус, на переходе захватила неожиданная толпа из метро и как замельтешили перед её глазами спины, зонты, голоса, шлёпанье чужих туфель по измызганному асфальту. Немного потерявшись, она отдалась ритму толпы, затем сильный порыв плеснул ей сверху мороси в лицо, а перед глазами, когда она их протёрла, вырос строительный забор, перегородив проулок и всю пешеходную часть, вследствие чего толпа, в которой она всё ещё тащилась, вытянулась гуськом и пошла по узкой полоске между забором и проезжей частью. Из такого потока выбраться уже было невозможно, но забор длился с каким-то ошеломительным намёком на бесконечность, а машины по правую руку неслись такой же сплошной рекой, при этом чем дальше, тем их становилось больше, в их движении ощущалась странная истеричность, два потока посреди временами останавливались в минутной пробке, и водители страстно и отчаянно переругивались друг с другом, гуденье клаксонов и шум людей уже сливались в один непрерывный раздор, а сквозь машины на той стороне дороги видна была шумная драка и тут же рядом играл что-то восторженное уличный доморощенный оркестрик, усиленный сипящим динамиком, а между опять вставшими двумя средними полосами автомобилей быстрым крепким шагом шла пожилая женщина и лупила по крышам машин пластмассовым ведёрком направо и налево, перекрикивая бранью весь общий гул этой встревоженной жизни. Далее забор слева обрывался и колонна двигавшихся по тесному переходу высвобождалась в широкое пространство полуулицы-полуплощади, где, очевидно, совсем недавно произошла крупная авария: на огромном пространстве были размётаны останки автомобилей, кое-где виднелись всё ещё горящие остовы, некоторые были просто покорёжены, отброшены в сторону или перевёрнуты, по асфальту в разные стороны тянулись красно-бурые кровавые лужи, смешиваясь с хлипкой грязью, куски выдранной и перемятой шинами плоти, оторванные кисти рук и раздавленные головы. Посреди дороги свален на бок был крупный грузовой «газик» с тентовым кузовом, вокруг него собралась большая толпа, в которой, кажется, все ненавидели всех, немного милиции шныряло по всей этой площади, кто-то из них пытался организовать проезд машин мимо аварийного участка, проехать можно было лишь в один ряд и в одном направлении, оттого некоторые не выдерживали и рвались вперёд, врезаясь в других спешащих и тем самым увеличивая завалы битых машин. Сквозь крики, брань людей, визг и гуденье машин, игру музыкантов, которых невесть кто сюда зазвал, и речитативы попрошаек, о которых так же не известно было, кем они сюда приведены, — то там, то здесь, на всём протяженьи аварийного участка слышались стоны и крики раненых, лежащих иной раз прямо на

земле, неукрытых, которых не добивали, видимо, потому лишь, что никому это не приходило в голову. Впрочем, почему же не приходило: здесь же человек десять группой, обмотавшись тряпками, быстро шли наискосок площади и обрезками арматуры били всё, что попадалось им под руку: здоровых, раненых, женщин, детей, ментов или цыганок. Кто-то попытался вступить с ними в драку, но был скоро уложен в несколько взмахов. Чуть дальше, за опрокинутым грузовиком, стая бродячих собак, бегавших тут же и подбиравших растерзанные кишки и мясо, набросилась на женщину, лежавшую на земле с перебитыми всмятку ногами. Она визжала на ультразвуке и судорожно била их по головам руками, по-лягушачьи подпрыгивая на уцелевших в аварии ягодицах. Маленькая толстая девушка остановилась: перед нею толпа, перекрыв обзор на женщину и собак, притормозила чёрную «камри» и быстро сумела выбить камнями окна внутрь. Затем двое человек с двух сторон обильно плеснули внутрь бензином из канистр, а третий тотчас закинул в салон горящий фаер. И уже в пару десятков рук и ног держали двери закрытыми, пока хозяин догорал в уютном японском салоне. Неподалёку мужчина с гитарой правильным и сильным, хотя и некрасивым голосом пел про то, что пока горит свеча, пока, вообще-то говоря, горело всё. С серого неба вновь обильно заморосило, к остановке, упирающейся в заворачивавший строительный забор, подъехал автобус, и люди, стоявшие поблизости, заспешили к дверям. Девушка тоже двинулась к автобусу, не то чтобы совсем без участия собственной воли, но всё-таки скорее в силу какой-то неожиданной гравитации, обнаружившейся на этом месте, как если бы все прежние формы притяжения отпали от человека и в нём обнаружилось последнее и самое тонкое и неистребимое влечение. Глядя в пространство поверх ада, разыгравшегося на площади, она увидела мутные и неуследимые, так, как видят очертания световых пятен в глазу после того, как источник их погас или убран, черты огромной, медленно вращающейся звезды с девятью лучами, которая, подумалось ей, и должна была быть источником этого нового тяготения. Совсем не сильного, но глубокого и тоскливого, какое испытываешь, стоя на краю обрыва, над уплывающей книзу землей. «Ну, чё стоишь, курва? Прыгай давай!» Перед нею снизу торчал квадратный низенький мужичок с остатками подживающего синяка под глазом. Она туманно развернулась на подножке автобуса и неспешно прошла внутрь.

— Ма́стера считали сумасшедшим и, наверное, справедливо. По крайней мере, на учёте в больнице он состоял уже за восемь лет до своей смерти. Очень несчастной смерти, признаться, — говорила худощавая женщина, укутанная в длинный блестящий от мороси плащ, ведя их через огромный заводской двор. Двор этот был изрыт колёсами машин и попросту неухожен, завален здесь и там трудно определимым производственным мусором, мешками с цементом и ящиками, укрытыми

брезентовой тканью. В дождь он превратился в сплошное поле грязи, которое они обходили по уложенным свеженапиленным доскам, иногда лишь прикрытым поверх козырьком шифера. По двору бегало несколько крупных, не лаявших собак, больше похожих на гиен, длинноногих, с высокой холкой. Женщина, встретившая их внутри и, очевидно, взявшая на себя обязанности гида, продолжала:

— Когда во время дефолта завод перестал работать, мастер заперся здесь и фактически стал жить на его территории. Это было несложно, поскольку завод стал, по сути, ничейным, здесь селились бродяги, наркоманы, кого только не было. Трудно сказать, чем он питался, кажется, был кто-то, кто привозил ему время от времени еду. Процесс банкротства завода растянулся на несколько лет, а затем новый хозяин никак не проявил себя в деле восстановления. Видимо, эта территория нужна была ему лишь для временного вложения денег. Но здесь всё было по-старому, постройки ветшали, площадь стояла неохраняемой, ночевали какие-то случайные бездомные. Мастер продолжал жить в оборудованном для себя «кабинете» — одном из бывших подсобных помещений внутри завода, где не было наружных окон. Пять лет назад он умер. Его тело было обнаружено милицейским нарядом, который был вызван сюда по анонимному звонку. Оно было разорвано на куски, — сказала женщина, остановившись и впервые прибегнув к жесту, дабы продемонстрировать несчастное положение покойника. — Не известным науке способом. Чудеса.

Она стала на пороге у заводского входа, у дверей, поставленных, судя по виду, совсем недавно, которые отперла ключом и, кивнув головой, пригласила всех внутрь. Несильный запах краски, тепло и тишина окутали их в зале, который уже совсем не походил на проходную завода.

— Господин доктор купил завод с территорией полгода назад, — сообщила женщина, возясь с мобильным. — У него, как законного владельца, большие планы на это бывшее предприятие. Он видит в нем зарю какой-то новой жизни. Он говорит, и его словам можно верить, что уже и сейчас в нем всё готово к *работе*, а в будущем будет только лучше. Главное, по его компетентному мнению, уже сделано — не им, а выдающимся мастером, неизвестным народным, если хотите, умельцем, чьему дарованию позавидовали бы и в Египте. Иногда господин доктор проверяет оборудование, так сказать, в экспериментальном режиме, и, как мы все сегодня можем убедиться, оно работает безотказно.

Полы были устланы дорогим тёмным ковролином, очень тщательно, и здесь, у входа, и дальше по всему большому залу с несколькими подиумами, двумя полутёмными коридорами и неосвещённой просторной лестницей вверх. Низко над залом свисала широкая, массивная

люстра, но, как видно, её ещё не подключали, а помещение освещалось рядами люминесцентных ламп, наскоро прикрепленных к стенам. Окна наружу были заставлены листами плотного пластика, и свет солнца, существуй он, не проникал бы внутрь. Посреди зала стоял огромный полукруглый диван, обитый красным бархатом и золотой нитью, на низеньких коренастых ножках и с роскошным декором дерева на спинке и подлокотниках. Наполовину он был ещё обёрнут в полиэтиленовую плёнку, а груды нераспакованных коробок и пакетов повсюду в зале свидетельствовали, что до завершения ремонта и отделки бывшего завода ещё по-настоящему далеко.

Вот, поглядите теперь, в каком положении мы обнаруживаем шестнадцать указанных выше человек, размокших за время своего путешествия в хлам и заляпанных грязью по маковку, переживших прежде сего нечто, по их человеческим представлениям, страшное и напрасное. И мы бы не прочь были продемонстрировать желающим их кислые рожи, которые всегда вызывают оживлённый интерес у наблюдателей, если бы таковые действительно имелись у них в наличии. Но нет, рожи их были не кислы, но светились простым человеческим счастьем. А ведь казалось, что осчастливить их нечем.

Но даже их невозможное счастье будет неполным, если они, как единое мыслящее существо, вдруг решат не последовать голосу разума и останутся здесь, в этом зале, навсегда — в то самое время, когда красивая женщина-полугид, расправившись с телефоном, жестом, вторым за последние полчаса и столь же уверенным, пригласит их в изогнутый коридор за собою, где уложен пахнущий свежестью паркет и дорожка, где каждый шаг возвышает человека, а не делает его скотиною, как у них заведено, где, чёрт побери, вот эти красноватые лампы шириною с запястье пятнадцатилетней девушки, уже обученной кроить и думать над выкроенным, но длиною не менее кота, увешаны в ряд по одной лишь стене в её нежных кессонах, горят, как свечи, как свечи людей, знающих, что им следует предпринять. Им же это и в головы не придёт, будем уверены: в упругости этих ковров, удесятеривших милость творца, в эхе шагов, неторопливо окатывающем их тёмнобордовой волною, в предвосхищённом радиусе окружности, которую представляет собой уклоняющийся вправо коридор, уклончивый! — но прямой, а не то, что там, уж в этом извольте убедиться сами. А если что и пульсирует за этими нежнейшими в угасающей лаве света стенами, тонкими паутинками граней подымающимися к восходящему куполу вечного дня, то есть, вечного, что значит навеки, если из стремительного, как квантовый переход, движения пространства, где ты свободен хоть тут же улечься и спать несброшенным камнем, можно, при наличии должных навыков, слепить то детский утренник, то лик девы прекраснейшей, если всё это

неудержимо так, то это счастье, склонённое под единственно верно прямым углом, его размах, его почерк, никто не звал, само явилось и есть.

Градус счастья двери закрытой, но ты откроешь её, мы все в тебя верим. И высшая мера открытых дверей.

Тогда вошедшие в комнату мастера были осчастливлены уже настоящим образом: пустая белая комнатка эта всплошную изукрашена ровными точными изображениями девятиконечной звезды, всё разных размеров, но единственной, тщательно повторенной формы; звёзды идут единым массивом по полу, стенам и потолку, легко перебегая отлоги радиаторной трубы и вытяжки наверху, клубятся и рассыпаются, сцепляясь друг с другом всегда в равной пропорции, как неспособные приблизиться и разойтись совершенно. Взгляд будет следить, увлечённый течением, за их сплетающимися потоками, находя их направленными; он ослабнет, пытаясь выудить в сужающейся воронке, будто подвешенной над исписанной поверхностью в этом чёрном дрожащем воздухе, неизбежный центр, к которому, ускоряясь на каждый шаг времени, текут они, и, не найдя его, не успокоится, станет блуждающим, станет ничьим. Будь он рассудительным, то, верно, станет и удивлён: решив когда-то, что безумие грязно, неряшливо, что строгость и мера ему чужды по природе, он будет опрокинут новым знанием, предъявленным в исключительной точности действующего механизма. Оцените, к слову говоря, освободив секундную мысль для наконец заслуженного чувства превосходства, уровень, так сказать, представления их о вещах мира: этому можно и посмеяться. Ведь с другой стороны того же мира, где усилием дождя и ночи стёрта и память о том, что земля тверда, известно давно и даже признано верным, что тончайшие механизмы нужно держать в безусловной чистоте, для того чтобы они могли *работать*…

ДЗФ

— А кроме того, это противоречит теории двух зелёных фломастеров.

— Чего?

— ДЗФ, вы что, не слышали? Интересно, как это вам удалось, о ней только ленивый сейчас не судачит.

— Слышал, но, наверное, подзабыл. Напомните, пожалуйста.

— Странно. Что там забыть, что там напоминать? Проще некуда ведь. ДЗФ|ВЛР. Два зелёных фломастера всегда лежат рядом.

— И чо?

— В смысле: чо? Это и есть теория. Краткая её формулировка, она же полная. Для удобства именуемая ещё краткополной. Развёрнутополная включает в себя помимо прочего глоссарий, представление в двоичном коде и, собственно говоря, инвентарь. Но ею никто не пользуется.

— Почему?

— Всем и так всё ясно потому что.

— И как же эта, хм, теория была, если можно так сказать, выведена?

— Нельзя так сказать. Ну вы что, издеваетесь надо мной? Это же детская легенда, сродни историям об Архимеде, или Ньютоне, или, ну, скажем, Менделееве. Был такой учёный, профессор Даблгрин, бывший струнщик, но раскаялся. Однажды к нему приехала в гости его племянница с маленькой дочкой, некоторое время они гостили в его квартире. Как-то утром он сидел у себя в кабинете, а в соседней комнате играла девочка. Вдруг оттуда раздался страшный грохот, как будто бы уронили шкаф или, чего доброго, шифоньер. Профессор, переживая, не случилось ли чего с внучатой, мигом влетел в комнату, но с девочкой было всё в порядке. И вообще всё было в порядке, ничего не падало и не разбивалось. А девочка сидела посреди комнаты на полу, перед большим листом ватмана, и держала в руках два зелёных фломастера. Даблгрин облегчённо вздохнул, погладил малышку по голове и пошёл обратно в кабинет. Зайдя к себе, он внезапно обнаружил, что на его рабочем месте, на столе, аккуратно положенные рядышком, лежат два зелёных фломастера. Очень удивившись тому, как они здесь оказались, он взял их и решил отнести в комнату к племяннице. Но снова зайдя внутрь её, он не обнаружил там девочки. Тогда он положил фломастеры на стул, где лежала коробка из-под них, и опять пошёл к себе в кабинет. Едва он вошёл к себе, как увидел, что на его рабочем столе сидит девочка, на самом краю, сидит, улыбается и болтает ногами, а в кулачках у неё два зелёных фломастера. Он осторожно снял ребёнка со стола и на руках понес её обратно в комнату. Там он уложил её в кровать, потому что она стала засыпать, и только намеревался вернуться к себе, как услышал из-за двери своего кабинета ужасный грохот, словно там упал шкаф или, не приведи боже, шифоньер.

— Это очень интересно, продолжайте, пожалуйста.

— Спасибо, я и не думал останавливаться.

— Разумно.

— Спасибо. Итак, Даблгрин вошёл в кабинет, но там всё было на месте, ничто не падало и не валялось разбитым вдребезги. Он вытер пот со лба и решил наконец сесть за стол поработать. Но,

присаживаясь, он увидел, что на его стуле лежит большой кусок ватмана. На этой же бумаге, посреди листа, обнаружился один зелёный фломастер, а под ним, на самом листе, был изображён точно такой же зелёный фломастер, нарисованный, очевидно, первым.

— Вы хотите сказать, что их, таким образом, было два?

— Я утверждаю это со всей ответственностью.

— Смело.

— Спасибо. «Бедная, — решил профессор, — девочка, она устала и забыла здесь свой рисунок». Он, не сгибая, взял лист ватмана и фломастер и понёс его в комнату, где спала малышка. Подойдя к кровати, он положил бумагу и фломастер на журнальный столик, стоявший у изголовья, а после чуть сдвинул одеяло от подушки, чтобы посмотреть, как спит девочка. Её там не оказалось. У профессора слегка закружилась голова, и его тут же начало клонить в сон; он подумал, что можно вот прямо так, не раздеваясь, забраться под теплое одеяльце, укрыться с головой, подтянуть ножки к животу и приобнять их, сворачиваясь на бок, и тотчас же уснуть легко и сладко, весь обратившись вовнутрь себя, в тёплое нежное дрожащее дыхальце. Он уже занёс ногу и упёрся коленом в мягкую кроватку, но после повернул голову и посмотрел назад: у входных дверей стояла девочка, держа в вытянутой руке зелёный фломастер, а рядом с ней была ещё одна, точно такая же, но в два раза меньше, и она тоже держала в руке второй зелёный фломастер. «Надо, — подумал профессор, — же, как это возможно, чтобы у такого маленького ребёнка был свой ребёнок? Это ведь противно естеству». Он сел на край кровати и, подперев обеими руками голову, стал смотреть на детей. Большая маленькая девочка стояла неподвижно и всё так же тянула руку с фломастером вперёд, тогда как маленькая маленькая девочка в какой-то момент повернулась лицом к профессору, и в этот раз он заметил, что она совершенно голая и покрыта густой, но короткой и незаметной шерстью, которая на лице отвисала длинными и тёмными прядками. Она встала на четвереньки, в таковой позе напоминая скорее пекинеса, и быстро подползла к профессору, принявшись с ходу лизать ему ноги. Он долго смотрел, как усердно, дрожа всем телом, она кружится над его ботинками, а после поднял взгляд к двери, на большую маленькую девочку. Но у двери никого не было, и комната также была пуста. Тогда он снова опустил голову, глядя вниз себе на ноги, рядом с которыми тоже никого не оказалось. Он посидел немного, массируя виски пальцами, а затем решил, что неплохо бы было пойти в кабинет поработать. И он действительно встал и пошёл к себе, но только зайдя в кабинет, он увидел, что у окна лицом к нему стоит малышка, а что всё лицо и руки по локоть у неё изрисованы зелёным фломастером. Он подошёл и

присел перед ней на корточки — девочка была расстроена и начала громко и сопливо плакать, поняв, что на неё обратили внимание. Даблгрин потянулся в карман за платком, чтобы вытереть лицо ребёнку, но вместо платка с недоумением извлёк из кармана два зелёных фломастера. Которые девочка тут же хищно и порывисто схватила, моментально перестав плакать. Он ещё раз устало погладил её по голове, затем взял за руку и повёл в её комнату. Но у самой двери, стоя в коридоре, он опять услышал, как в той комнате что-то, — быть может, шкаф или, хуже того, шифоньер, — оглушительно рухнуло, рвануло и рассыпалось на мелкие части, а ладонь девочки, которую он держал в своей руке, из тёплой на мгновение стала обжигающе ледяной, словно бы он схватился за промёрзшую на полярном морозе сталь. «Мы, — сказал он, — туда не пойдём больше», — поворачиваясь лицом к малышке, которая, в целом, была ко всему готова. Затем…

— Я вас прошу не останавливаться, пока вы не закончите этот рассказ.

— Я и не собирался.

— Просто очень уж интересно.

— Спасибо. Затем он поднял голову и посмотрел вглубь коридора. Там, у поворота на кухню, освещённая боковым светом, стояла его племянница, мама этой маленькой, но нисколько на это обстоятельство не обиженной девочки. И по выражению лица женщины профессор понял, что она гораздо лучше него знакома с некоторыми вещами, которые нет-нет да и случаются в сумраке дней этой жизни, и что если ему лишь отчасти удалось застать голос этих вещей, то это не оплошность, а в известном смысле милосердие, которым провидение одаривает тех, кто подвернётся ему под руку. «Так, — подумал профессор, — мне и надо», — оставаясь посредством этого умозаключения в благодатнейшей правоте. Вот, собственно говоря, таковы обстоятельства создания теории двух зелёных фломастеров профессором Даблгрином, и, поскольку их знает любой, даже слегка отстающий в развитии школьник, мне прямо удивительно, отчего для вас это новость.

— Да, но позвольте, а в чём же заключается сама теория?

— Вы шутите.

— Нет, знаете, у меня с юмором вообще не ахти было, вот сколько себя помню. И? Ну, в смысле: и всё-таки?

— Я же битый час… Да нет, не может быть… Слушайте, ну я ведь сколько раз уже сказал: два зелёных фломастера всегда лежат рядом. Вот теория. Я не знаю, как это по-другому сформулировать, да и зачем?

— Ну, то есть вы хотите сказать…

— Да я уже сказал всё, что…

— что вот и в этот момент времени все два зелёных фломастера…

— хотел, и… Да, и в этот, а чем он хуже…

— находятся рядом друг с другом, независимо от…

— других? Слушайте, ну это же постоянная, понимаете? Как…

— того, где именно они находятся, я так понимаю? А, постоянная…

— постоянная Планка или, там, скорость света, ну мало ли…

— это, то есть, значит, всегда и строго…

— их бывает… Ну, так я же и говорю: всегда.

— без исключений, так? Так, стоп! Стоп. Смотрите.

— Ну.

— Вот смотрите. Тут вот, видите, у меня два зелёных фломастера. Видите? И вот один я кладу, — заметьте, я не спорю, что они сейчас рядом, я только насчёт того, что всегда, — один я кладу сюда на подоконник. Вот, видите? Потрогайте его, он здесь.

— Я… нет, я вам верю, ну что вы.

— Трогать не будете, ладно. Но он здесь и вы его видите, так? А второй… втор-рой, эгегей, вот он, второй, м? Второй я положу… положу его!..

— Эй, ну куда же вы? Ну что за напасть… Осторожнее там. Кроты подрыли беседку!

— Я вот здесь его оставлю! Я зарою его здесь!

— Бог вам в материальную помощь! Черника там, если вдруг… И поосторожней с кротами: они слепые и могут принять вас за агрессора. Черничку, а… Ну, ладно. Там лужа с карбидом. Вот, да…

— Вот, значит, я его прикопал там. А этот, где, а, вот он. Вы же его не трогали, вижу…

— Ни-ни!

— Хорошо, да неважно, в конце концов. Почему вы ничего не трогаете, боитесь? Ну, не важно. Итак. Итак! Вот один зелёный фломастер, он лежит здесь, мы оба его видим. А второй тем временем покоится в земле сырой, и между ними очень даже значительное на взгляд фломастера расстояние. И заметьте, что с той же лёгкостью я мог бы отвезти этот фломастер в Саранск, никто бы мне слова не сказал. А Саранск — это чёрт знает где, это вообще не Земля.

— Ну и что?

— Как это что? Вы что же, и сейчас будете утверждать, что два зелёных фломастера…

— Всегда лежат рядом, да. А что вас смущает?

— То, что они не рядом, например.

— Ну, это вам только кажется. Это ваше частное мнение. Подавляющему большинству людей на него плевать, но вы не обижайтесь: это не обидно.

— Я и не обижаюсь, какого ж чёрта. Но вы, я не хотел бы об этом говорить, но вы вводите меня во искушение, как этих, малых сих.

— Кротов, что ли?..

— Юмор и сатира?

— Ну, отчасти.

— Просто я хочу ударить вас по лицу, а если вы так всего лишь неумело острите, то мне потом будет трудно оправдать себя перед коллективной совестью человечества.

— Ржу над вашим мировоззрением.

— Скотина.

— Знаете, я не хотел бы превращать нашу с вами дискуссию в какую-то бессмысленную пикировку с этими безответственными выпадами, грубостью дешёвой, хамством. Мы же с вами не в интернете, правда? И вы не станете мне тут в лицо говорить гнусности обо мне или ещё какую-нибудь подобную неучтивость, просто потому, что я вам руку сломаю тогда. Давайте-ка уже беседовать как взрослые люди, без этого баламутства, оно совсем неуместное здесь. Вам…

— Да я-то просто понять хочу…

— Нет, не хотите. В этом вот всё и дело. Вы лишь цепляетесь за свою ограниченность, удобную для вас, да ещё и другим её навязать пытаетесь. Трюки какие-то придумываете, вон, в земле зачем-то изгваздались, смотреть дико. И не стыдно же перед незнакомым, в общем-то, человеком так себя выказывать.

— Слушайте, так…

— Да я наслушался уже, хватит. Вам просто нужно понять, кто вы и чего в действительности стоят эти ваши так называемые мнения и ужимки, которыми вы их привыкли обосновывать. Ибо человеку постороннему, в моём, так уж вышло, лице, вы сейчас представляетесь чем-то вроде свиньи, которая решила проверить, хорошо ли она поела, и для того приказала бить себя палками и сапогами. Вы подобны орангутану, дерзкому духом, но слабому головой, который, увидев белого человека, свешивается с дерева и корчит рожу, вытягивая мускулистые губы трубочкой, он одновременно

хлопает себя одной рукой по темечку и второй по заду, тем самым желая изобразить в изощрённо глупом виде своего собеседника, он кричит «у-ууу» и выдёргивает волосы у себя из ушей в тщетных попытках скомпрометировать позицию и мнения противника, но лишь удостоверяет своё, и без того очевидное, видовое качество. Ещё уподоблю вас козлу, чья слава благородного, но малопривлекательного существа некогда обошла весь мир, не оставив его равнодушным, напротив, настолько его поразившая своей оглушительно вздорной ложью, что он, выучившись терпеть её, на том не остановился, но обратил её в крепость внутренней правоты, в лучшее, победительное и всеми признанное своё лицо, от явления которого он бы и сам прежде содрогнулся. А теперь — поглядите на него — он возвышен над миром и считает, что приобрёл его весь, что склонил его к своим злотворным копытам, как лозу, отяжелевшую плодами; и в деснице его секатор глумления; и не знает, забыл он, что мир этот — ложь и падло, что он сам сотворил его своим бесчестным падением и это к его голове приближено лезвие истины тем верней, чем яростней он восстаёт на неё. Дом, построенный на песке, не устоит, как бы крепок он ни казался. Дом, построенный на песке, рухнет. Рухнет и погребёт!

— Знаете, а ведь когда я вас только увидел, у меня уже были предчувствия. Да-да, физиогномика редко ошибается, а в вашем случае такие ошибки точно исключены. Опущенный затылок, крупные лицевые кости, форма ушных раковин… В лучшие времена таких, как вы, давили удавкой ещё до того, как они успевали произнести хоть слово.

— Редукция к золотому веку — как знакомо и как скучно. Вы боитесь мысли, пытаетесь улизнуть от реальности. Думаете, вы один? Сколько их таких было… за всю историю человечества.

— Господи, какая же гнусная пародия…

— Бог — это иллюзия. Я дал вам ключ. Вам, ничтожеству по сути и по форме. Была надежда, теперь уже очевидно тщетная, глядя на вашу заинтересованность, что вы не испугаетесь страшной бездны реального, не станете юлить перед её лицом, а сможете принять её в натуральном виде. Пустое, да, но тем хуже для вас.

— Ну, вы что, ещё угрожаете мне?

— Не смешите. Как можно угрожать тому, что не существует? Чем? Вы ведь даже на самую малость не допускаете реальность к себе, даже на формальную и ничем не обязывающую вас дистанцию. Ну скажите, скажите, что в действительности вам стоило признать такую мелочь? Вам за неё ничем и платить бы не пришлось, ни деньгами, ни свободой, ни, упаси боже, жизнью. Вы бы этого в своём

существовании и не заметили бы. Подумаешь, фломастеры. Вы ими когда последний раз пользовались, в детском садике? Вот то-то же. Тупая, склочная, агрессивная ригидность сознания, не способного ни к созерцанию вещей мира, ни к анализу, притом абсолютно непрагматичного, нацеленного исключительно на самоуничтожение, — вот и всё, что вы тут продемонстрировали. Вас даже не жаль. Убирайтесь.

…

— Ну что же…

— Уфф…

— Неплохо, да?

— Да уж, отличненько.

— Ну что же, спасибо за приятную беседу. Мне вас когда ещё рекомендовали, и ведь не зря.

— Что вы, не стоит благодарности. С вами было чертовски интересно работать.

— Если что…

— Конечно-конечно. Мой телефон у вас есть же, да? Вот, возьмите визиточку, там все мои данные, реквизиты, всё как положено. И ещё, касательно просьбы.

— Это само собой. Вы не беспокойтесь, у нас ведь такие вещи не пропадают. Племянница ваша уже заходила утром к нам в офис. Хорошая девочка, думаю, мы устроим её в юридическом отделе. Пока что здесь, а где-нибудь через месяц оформим документы и переведём её в новое сингапурское отделение. Чудесный город, море, парки, небоскрёбы, гольф-клубы, магазины.

— Всё как в жизни.

— Даже лучше, уверяю вас, даже лучше.

Паразиты

Он долго жевал губы, глядя в сторону от моего взгляда покрасневшими глазами в густых прожилках, наконец с доверительностью, будто признаваясь исповеднику в чём-то неловком, проговорил:

— Я просто очень хочу поспать на спине. Как вы понимаете, спать я могу сейчас только на животе. Это так мучительно.

Я понимающе кивнул.

— Однажды я сильно напился. Дело было уже ночью, я сидел на кровати и чувствовал, словно во мне поднимается какая-то волна ненависти. Я сжимал кулаки и говорил себе, что, мол, всё, баста, я сейчас лягу на спину и засну, а умрут, сдохнут, это уже не моя проблема. Я им ничего не обещал, это они меня мучают. И вот так я сидел, убеждал себя почти до утра и так и не смог решиться. Всю водку выплакал только.

— А сейчас, — сказал я, — стало быть, вы решились и поэтому пришли ко мне?

— Да, — сказал он. — То есть, нет, не совсем.

Он поёрзал на стуле, и горб, нелепо оттопыривавший ему за спиной рубашку, похожую на пыльный мешок, закачался и задребезжал.

— Просто у меня не было денег раньше, чтобы обратиться к врачу по-тихому, чтобы не привлекать к себе внимание, понимаете. Мне лишнего шуму не надо.

Я снова кивнул. Конечно-конечно.

— А тут недавно я выиграл в лотерею неплохую сумму и решил, что теперь можно и с этим покончить наконец.

— Вы везучий человек, — сказал я, закуривая.

— Ну, так…

— Но кроме того, вы очень хороший и милосердный человек, верно? Такое редко совпадает.

— Ну, не знаю…

— Да ладно вам, не знаете. Другой бы на вашем месте уже на третий день какой-нибудь палкой соскоблил бы всё к чертям. А вы — сколько вы уже с этим живёте?

— Десять лет.

— Десять лет, боже милостивый! И ни разу за это время не поддались искушению, ну, скажем, пойти лечь в ванну по горло минут на пять. Вы ангел просто.

— Ох, с этим отдельная беда, — сказал он, заморгав, видимо, от смущения. — Я душ с большой осторожностью принимаю. Спину только смачиваю, без мыла, ну, вы сами понимаете.

— Конечно-конечно. Чешется?

— О да.

Громкая мелодичная трель прозвучала в кабинете. Я посмотрел на часы, потом на своего, теперь уже очевидно, пациента: крупное его мясистое лицо выражало совершенное безволие и неблагополучие.

Такие лица, думалось мне, словно сделаны для того, чтобы притягивать к себе неуважение, несмотря на все качества их носителей.

— Что ж, давайте же посмотрим, что у вас там, — сказал я.

Он глубоко вздохнул и начал расстёгивать рубашку.

Расстегнувши, он не стал снимать её через рукава, но вместо того подцепил пальцами края за спиной и одним наработанным движением перебросил её со спины через голову, и вытащил руки из рукавов, только когда она вся уже была стянута наперёд. За спиной его висела дурацкая конструкция из алюминиевых реек, закреплённая верёвками у него под мышками и на плечах. Он развязал верёвки и осторожно снял её, поставив на пол рядом с собой. Я встал из-за стола и обошёл его, зайдя за спину.

— Эхей, вот это да, — проговорил я, разглядывая его спину.

Из белой, как смерть, кожи симметрично, попарно вдоль позвоночника торчали пёстрые тельца дроздов, взбудораженных внезапным светом и вниманием. Их было пять, два покрупнее, торчавших почти наполовину из тела пациента, три помельче, утопленных по самую шею, которой они, впрочем, свободно вертели, осматривая меня и помещение кабинета. Вместо ещё одного, шестого, на спине был только крупный бугорок, из которого выглядывал вёрткий жёлтый клюв.

Я нагнулся поближе и стал рассматривать, всполошив птиц, как именно они крепятся к телу пациента. Ожидаемо всё выглядело вполне естественно: птичья кожа переходила в человеческую без единой спайки, перья редели у основания и продолжались кольцевой полоской тёмных коротких волос, покрывавших вздутие плоти в месте её перехода. Тела птиц не прощупывались пальцами внутри, за пределами их видимого выступания из тела человека.

Верхний дрозд слева встряхнул головой и телом, взъерошив перья, и издал короткий щебечущий возглас. Я потянулся рукой к нему и осторожно пальцем погладил его под клювом. Он отдёрнул клюв, как-то втянув голову, а затем уставился на меня и стал внимательно изучать, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Умные тёмные глаза его, похожие на ягоды, казалось, сообщали какое-то почти человеческое выражение его остроносой мордашке.

— Какие они милые, — сказал я. — Вы когда-нибудь их рассматривали?

— Только в зеркале, — сказал пациент и зябко пожал плечами.

Я погладил пальцем ещё пару зажмуривающихся голов и вернулся к себе за стол. Мужчина стал медленно подвязывать свою конструкцию за спину и надевать рубашку.

— Итак, — сказал я по прошествии какого-то времени, — вы не решились умертвить их сами и поэтому обратились ко мне, чтобы я взял грех на душу, верно?

— Ну какой грех, что вы? — испуганно запротестовал он. — Это же просто паразиты, они мне жить не дают. И между прочим, я не говорил умертвить, я говорил удалить. Если они после этого останутся жить, я буду только счастлив.

— Нет-нет, это невозможно, — сказал я. — А вам нравится, как они поют?

— Боже, нет. Этот ор невыносимый, от него реально можно с ума сойти.

— Ну, сейчас как-то помалкивают.

— Это они на новом месте просто. Дома орут без остановки. Вы же можете сделать это безболезненно?

Он смотрел на меня с забавным выражением опасливости и надежды. Между тем, я уже, кажется, начал понимать, чего именно я хочу от него.

— Что сделать? — спросил я.

Он поднял руку и прижал пальцем задёргавшийся глаз.

— Ну, удалить их.

— То есть, убить.

— Нет, ну зачем так…

— Вырвать с корнем, убить, растерзать, растоптать, стереть в порошок и развеять по ветру.

— Господи, нет. Я совсем не хочу ничего плохого, — он сглотнул с трудом, изобразив на лице напряжённую гримасу. — Мне просто нужен врач. Я очень страдаю, поверьте, очень. Вы же доктор.

— Я? Да, пожалуй, доктор. Я тот ещё доктор.

Он сидел в вынужденной позе, сползая на край стула, точно пытался угадать что-то главное. Из-за спины его донеслось несколько отдельных возмущённых чирков.

— Вот что, — сказал я, — а вы не пробовали как-то ужиться с этим? Впустить это в свою жизнь, примириться и начать жить заново? Да, я понимаю, это трудно. Но ведь возможно. Помните эту рекламу? У него нет ни рук, ни ног, ни хвоста, но он принял Христа и теперь похож на хлюста. Вот бы и вам так.

— Как? — он трагически смотрел мне в глаза.

— Ну, не знаю. Вы могли бы выступать в цирке. Обучили бы своих дроздов какому-нибудь художественному пению или смешной шалости,

подготовили бы номер. Я вам ручаюсь, он имел бы огромный успех. Ваши птицы были бы уже и в телевизоре, и на ютубе, с миллионами просмотров. Вы, кстати, не чувствуете с ними некую тайную, мистическую связь?

— Я чувствую боль, — сказал он.

— Печально. Вы даже не пробовали наладить с ними контакт. Вы ведь не давали им имена, верно? Вам, видимо, это и в голову не приходило. А ведь казалось бы… Вон тот, слева сверху, я думаю, ему очень подошло бы имя Мэн Шао. Как вам идея?

— Я всего лишь хочу удалить их.

— Ясно. А кто вы?

Он смотрел уже с настоящим испугом. Бледный наморщенный лоб его и виски взмокли, пальцы одной ладони судорожно сжимали другую. Очевидно, ужас его положения только начал доходить до его тусклого сознания.

— Я не понимаю, — пробормотал он, — что значит, кто я?

— Ну кто вы такой? Вы какой-то выдающийся человек, может быть, вы учёный или философ? Может, у вас какой-то уникальный дар, может, вы художник или музыкант, или просто умеете говорить животом или доставать кончиком языка до лба?

— Я не понимаю, причём здесь это…

— Так а на каком основании я должен «удалять», как вы выражаетесь, ваших птиц? Что вы из себя представляете без них? Непись какая-то, без лица, без самости, не наделённая ни талантом, ни чем-либо ещё выдающимся. Разве что, вот, в лотерею выиграли. Но такие обычно и выигрывают.

— Я просто хочу быть как люди.

— А Господь дал вам дроздов. Кто вы такой, чтобы оспаривать дар Божий? Вам бы поблагодарить Его за подарок, а вы вместо этого хотите, чтобы я взял на себя смерть этих невинных тварей. Сами-то побоялись руки запачкать. Десять лет скрывать от мира такое благословение Божие, вы хоть понимаете, что это грех? Вспомните притчу, как человек зарыл талант в землю, и что ему после этого было.

— Что?

— Всё. Ибо Господь Всевышний страшен, — великий Царь над всею землёю.

Он передёрнул плечами — вначале зазвенела «клетка», подвешенная у него на плечах. А затем заметались, закричали, запищали и засвистели на разные голоса его дрозды. Он обнял себя за плечи и

стал немного раскачиваться вперёд и назад, что-то мыча под нос, словно пытался укачать и убаюкать птиц.

— Мне уходить? — спросил он, заглядывая мне в глаза.

— На рентген сначала, — сказал я. — А завтра в десять у меня.

Он вышел.

Я почувствовал себя невероятно уставшим. Я сидел и смотрел на мелкое рыжеватое перо, упавшее на край моего стола, как оно раскачивалось, будто лодка на случайных волнах, под потоками воздуха, не уловимыми рецепторами моей кожи. Обыкновенная мерзость иллюзии — вот что по законам нынешнего времени выносило себя на поверхность гуттаперчевых волн, как искра внимательного угасания, оставляя позади себя ковкую тяжесть осознанных бдений посреди тучных рун коммерчески успешного сна. И я бы не стал, оправляя беличий смысл варварской логолатрии в меха отчуждённого императива, которым развлекает себя, стыдясь природной своей чешуи, заводной ученик карфагенских пиратов, требовать от запаршивленного к концу эона языка выверенных узлов и меток на трудной прописи богоявления. Нам не предосудительно встретить свободным лицом отрезвляющий холод необходимого леса, когда, воодушевлённые чортовым пэаном самой истории, мы открываем для себя автоматический гнев её откормленных почитателей. Поэтому ни случай, удостоверяющий своё нежелание длящимся, как песок, контрапунктом, ни огненные львята, пища и выпрыгивая из газовой колонки навстречу хозяйскому окрику, едва зайдёт узколобое северное солнце, ни математический вертлуг боярской песни, отражённый от сабли, будто часть опереточной пытки, не займут нашей памяти более, чем на единичный всхлип лошадиной девочки, спрятанной за буфет для созерцающего забвения. Об этом надо подумать заранее, это — учредительное условие. И потом, кто же доверяет трофейному зуду толкований, когда уже очевидна и цель разрушительного самоутверждения говорящей злыдоты, и её наставительные мира́жи книзу головой и в полдневный пост? Было бы что терять.

В микроречи, которую, таким образом, созидает наше потерянное внимание в союзе с трупным воздухом оледенения, мы обретаем, прежде всего, навык дробления и без того мелких предметов в сагиттальную скверну предрождественского единства — и самого бытия, и того, кто наделил его свойством отражать буквенный луч всеобщего ничтождества. Глаза куманики, вспомним, в летучей беседке под морем выражают одну лишь надежду на совосстановление частей этого мира с угольным черепом зловещего верховодца. Вот он-то в конкордансе собственной глупости и знаменитого больного пространства под сеткой этой планеты и разрешает каждому

проходимцу, кто вывернет ключом своего лица потускневший эфир торжественного невежества, строить и возводить города абсолютного зла посреди титанически испуганных форм нашей обречённой свободы, порождённых промыслом слишком далёким, чтобы можно было к нему вернуться. Не надо шутить об этом. Тамплиеры шуток не понимают. Сегодня одно лишь это, как некий недосягаемый ум, отвернувшийся от дел жизни и тем более необходимый ей, способно прервать многовековой китеж человеческого страдательного присутствия под гнётом астрономически тучных полостей и распыляющих кабошонов бесконечного возвращения. Не оттого ли мы больны в аподиктическом способе усвоения опыта, в языке, греющем мавританскую пустошь того, что называют жизнь каждого человека, каждого, кто, перевернувшись однажды в гостьбе своего страдания, нынче готов заплатить номинальному чорту троекратную цену за дление всё той же всеобщей бестолочи, — не оттого ли, говорю, это так, что огневидные, чёрные, как мёд мертвеца, всадники, на конце стрел которых — растерзанные посеянным ветром эпициклы светил, почуявших жертву, уже встали у тронной звезды, как шейный серп у заложных колосьев света?

Пыль на зубах — это синтаксис всесожжения. Ночная песня — это испорченный механизм в моменте творца-истребителя, своего рода вечевой нарост на теле вынужденной утопии, где героические усилия всего народа встречаются с континуальной беседой сверхразумной поверхности временного кристалла и апокалиптической пустоты деградирующих измерений. Жаль того, что могло бы проглотить, как взрывную наживку, косвенное усилие вселенского спасителя к мусорным горизонтам самого настоящего ада. Здесь, сейчас, некое наименование вещества, вовсе не пригодного к протяжённости. Мысль ума, иссушённого ожиданием пересекающихся линейных паролей. Сюнь-цзы в обледеневшем окне, пар от земли, отделяемый числом и волей, триангулирующий маятник жуткого небесного ксенолита. Что ты ищешь, Мария? Алёшеньку, человечка божия. Вот отсюда, говорим мы, отправляется в тератометрическую бесконечность узнавания хлопотный поезд переменного существа, разгорячённого поэзисом терпеливых рощ во рту удачного взрыва вечерней звезды. Стук. Материя взбивается суматошной пеной, как если бы в тени холодного облака открылся герметически сдвоенный след деятельной мысли, предшествующей всякому возможному описанию. На фреске воин берёт в руки речную лилию, она разворачивается витражами самособранной речи, распределённой между квантами времени. Стук, найденное свидетельство. Если тело — это текст, в который оно вчитало смысл одинокого духа, то каким же образом корпулентное одноязычие инерционной человеческой всеобщности включает в себя локативные линзы иного — звука, замысла, вида? Тревожность, с которой

биологически сегментированный объект берёт первую ноту, продлевая её из ничтожного включения в достоверно зачисленный перенос, сродни дрожащей стрелке на запылённом дисплее, поймавшей сигнал там, где экранировано само бытие, ещё до его феноменального алфавита. Но голод наших пространств не может быть утолён, пока не разъяснится со всей определённостью, существует ли рубеж между ускользнувшим сюда перечислением имён внутри самоходной вещи, похожим на брызги металлического огня в абсолютной земле нерождения, и ответом самого неречевого тела, механически распахнувшего контингентную во тьме тьмущей дверь. Стук в эту дверь.

— Да, — говорю я, раскрывая глаза.

Он вошёл, скучно и тихо ступая, но всё равно звякнув металлическим своим горбом.

— Вы назначали мне прийти сегодня, — сказал он, встав в метре от стола.

— Ну, — проговорил я, откашлявши сухое горло. — И на что вы вообще рассчитывали?

Не дожидаясь ответа, я подошёл к шкафу и извлёк оттуда большие чёрные листы рентгена в бумажной папке, бегло осмотрел их на свет и, вернувшись, бросил на стол перед пациентом:

— Вот, полюбуйтесь.

Он подцепил пальцами угол снимка и чуть приподнял его:

— Что там?

— Дорогой мой! В вас же не осталось ничего человеческого! Вот смотрите, — я ткнул пальцем в снимок, — вот здесь у людей располагается сердце. И что мы видим?

— Что?

— Вот, вот этот контур, видите? Это тело дрозда. Вот здесь крыло, он чуть оттянул его, а вот утолщение. А вот здесь, где желудок, видите, какой жирный? Он немного присел, поднял голову и широко разинул клюв, как птенец. И этот ещё, смотрите, как он обвился вокруг позвоночника. А вот этот, который у вас вместо трахеи, кажется, собрался лететь куда-то. Но это ещё что, вот, полюбуйтесь, — я вытянул другой снимок из папки. — Это ваша голова. Вот здесь мы вправе ожидать наличие мозга. И что мы видим? Целых три, три птицы, плотно прижатые друг к другу, вытягивают головы в пространство черепного купола. Вот одна голова, там, где должна проходить латеральная борозда, вот ещё одна, в районе Lobus occipitalis. Собственно, чем вы мыслите? Это полная загадка. Что творится в брюшной полости, я вам даже показывать не буду. Это

птичий базар какой-то. Так что, дорогой мой, помочь я вам решительно ничем не могу.

Я начал подталкивать его к выходу.

— Но что же мне делать, доктор, что мне делать? — суетливо заговорил он.

— А я почём знаю? И что значит «мне» в вашем случае? Вы ведь даже не человек, вы дрозд, получается. Вернее, стая дроздов. Летите отсюда, дрозды!

И я с великим облегчением выставил его вон.

Выстрелы в ночи

Нет и не будет на Земле человека, который, проживя относительно долгую (вернее сказать: относительно вечную), заполненную рядом клиновидных событий и мероприятных переживаний жизнь, землепашца или погонщика ледяных стад, который, повторюсь, ни разу не слыхал выстрелов в ночи. Полагаю, это зрелище достойно того, чтобы я встал из постели, где кишмя кишат маленькие зябкие твари в человеческих масках, отнюдь не делающих их привлекательнее, и сел за стол, мой старый еловый, мой кратометрический стол, где уж давно приготовлена стопка бумаги и дышат компилятивною свежестью чудесные нубийские чернила, чья линия тонка, как звёздный убийственный волос, как локоны девичьей Береники. Я стану писать тебе, мой мальчик, это аккузативное письмо, впадая подчас в отчаянную полисистемность, извиваясь трепангами белоснежных кадавров, письмо, состоящее из слов, что увязались за мною во время моих депозитарных странствий среди миров, да будет благопроклят их создатель. Ты, моё юное совершенство, быть может, ещё в эпиглоссальном бреду называешь себя живым, быть может, к ужасу истинно любящих тебя, быть может, расчленяя себя на эскорты и французских экзистенциалистов, быть может, — оставь! Оставь игрушку тем, чьё бессмысленное вожделение она пробудила, как таинственный нож, поместив себя на измарагдовый трон и по дикому праву узурпатора требуя себе курящихся жертв и горных изюмов. Послушай меня. Когда в ночи раздаются выстрелы — а ты уже знаешь, что такое ночь, — человеческая жизнь, где бы она ни находилась и чем бы ни была увлечена, прерывается, кенофицирует, как ветхое рубище, если ты уже знаешь словарное значение этого удивительного слова. Я говорю о разрывах, эргативно, о зияниях, кавернах в плотных тканях Нашего Гадолиния, в мистральной пульпе, набрякшей

чудовищу впечатляющих размеров, которое, посаженное на цепь, мы с тобой видели истёкшим летом в Луна-Парке, в доме, который разрушил джек-рассел-терьер, да откроется тебе устрашающий смысл сей басни. Взгляни-ка сюда, мой аггел, — видишь: один прижался холодным лбом к стеклу, пытаясь унять дрош в коленях, и смотрит, жадно-жадно, в непроницаемую фрезу, откуда доносится звук, желая — кто знает? — стать отдельной ночною птицей или, уже ею будучи, перестать ею, о, хотя бы козаться; второй же и прочий хоть и спит крепче замковых глыб, а и самым сном, вишь ли, научен, как ему жить и дышать, и зачем, и что тому воспоследует. Тако и мы. Но не спрашуй, не надо. Один стреляет, как рубин в желаемой бездне, и, целясь незримо, круговым движением губ растворяет нативный пантакль, дабы выстрел был чужд и уверен в сопящем муссоне; второй же и прочий, прикоснувшись усердной слезой к отчаянью этих галактик, медленно, как в полусне, прижимает спусковой крючок сотни бесчисленных лет, покамест пуля, внезапно, родившись в мир увядания, не воспарит над ним семиаршинным отлогом. Вспомни сказку: «Морозко». В ней неизвестный орарь, погибая в боярышной тьме, уже говорил своей слепорудной невесте, дабы исполнить праотчую пажить, какими путями ерок пробирается к нычке, где соизмышлено ему брачное вено. А та, как гнёт, обуяла ему рясна и филомелью тянет во сад, где зреет ночь угодьем со львиные кущи, осаждённые варварским дымом. Тогда малые из мельчайших сынов её, чужаки в наступившем параде, нисколько не сочтясь с перспективою развременить хоть бы и само время, провожают беглую ноту кормящимся горлом, чтоб уберечь себя от затварки во ртутном обвесе, и этот звук, как бчела, сотрясает упорную землю. Но даже он, самовратный, не водрузит свою пыжму в ховалище нашей души выше того, что я чую сейчас в заснеженной стрёме банановых улиц и площадей, того, что, словно мясопустный вепрь, рвёт кожу нашего вокативного мира. Никто не в силах пресечь ему ясну. Однажды, в калиновый пядень, когда ты будешь идти привычной дорогой из семинарии, обаполы раскроется вдоль духовной земли червяжий смысл этой речи, вот тогда — быть может — поймаешь ты из гусиной воды своих фантазий гусенец отрешённого воцеления, — не раньше! А пока что молчи и слушай: как вырастает из чудкого утреннего простенка шепотливый прыжок испуганного сквознечика; как балуют совой опустевшие деревяшные сшитки, где один к одному подогнаны братские русла ума; как, чёрный и важный, подымается в цвет христофор, непоятый цветок в той солёной степи, которую вылонилони проезжал ты в собачьей управе, тоже чёрный и важный, как ять. Ты, сын сна и сон человеческий, знал ли тогда в своих мыслях, куда проваливается хлопо́к, когда ладони нестройно сходятся, как барантиды, опевая хроматический трюк распадающегося пространства? Из общинной улитки кормчего слуха не сообщалось ли,

как раздавшееся на скиты сознания и неподдельный джурум бытия древлище, обернувшись кропотливым ухватом, вознеслось над цирюльной ленцой небесного промысла? Нет; но в этом вины не больше, чем во младенческом сапе. Поэтому и воздвигнут в душе твоей матереотчий крыж, да пресытится смыслом червь сей загадочной лексы, поэтому и государит он, как воротарь перед лебяжей стеной, со страхом и зебом. Но в прощелыжном суставе своём даже он примечает царственные турусы потьмы, пронзающей его плотное дело со звуком ночного выстрела, как искры творения, рассекавшие некогда тло ничеводных пустот, звучали первозванным хуралом в тишине первоужоса. Тугун стоял — на три плеча! А ведь и сегодня ещё, в перцептивной грибнице наших с тобой городов, как басма́, разукрупняется жизнь тучно бранная шмяга, и старая слизь, охохорившись, зорко следит, чтобы никому из нас не досталось сладчайшего комариного зюсса из лобной полати. Так стоит ли, уговняя катархейскую память свою, сожалеть о том положении, в коем застало нас абиссальное слонце заводной современности нашей, похожее на заблудившуюся в веретёнах невежества упаграху, чей дымный отцвет, мальчик, ты напрасно пытаешься стереть со стекла своего ума? Ведь в ломтях и этого мира есть чревоточные слова, ведущие вонъ. Вспомни, откуда мы. И не трать себя на цапфенный жом мартыновой жизни, из которой выходят только с жалобой и сусветным стыдом, но приготовь свою дужку к самосвяточной вехе, когда в ночи, среди снежного щада и пёсьей повести, ты услышишь далёкие выстрелы внутрь, перекатывающиеся эхом от рима до рима. И обретёшь себя убитым ими, и наконец поймёшь эту нить, пока она не исчезла, пока она не исчезла в сонноприимных глазах твоих навсегда.

Приус и логгоры

В первых числах мая школа замечательно преображалась. Яркие цвета гирлянд, детские ярмарки, конкурсы песен и костюмов прерывали обычную неразличимость занятий, и на несколько дней законом и долгом жизни вновь становилась праздная всеразрешённость. Ей, как хорошему богу, который не обременяет нас своим родством и любовью, легко подчинялось всё, даже вечерние звёзды, рассыпавшиеся по небу неожиданными, тревожащими скопленьями.

Аудитория биологического класса была, можно сказать, почти пуста. Но даже те две—три группки детей, собравшихся там, умело производили вполне соразмерный ей шум и движенье. По школьным

масштабам, класс этот был огромен, в нём нередко проводились контрольные для всего потока, и в задней его части, за последними партами, парою рядов располагались высокие и крепкие лабораторные столы, из тёмного дерева, глухо привинченные к полу, не сдвинешь, с глубокими ящиками за дверцей внутри. Они были пугающими, настолько, что даже бесстрашные девочки из 6-го «б» не посмели бы украсить их цветами на праздник. Они были пугающи, а впрочем, к ним привыкли.

Учитель вошёл поначалу один, махнул рукой детям, дескать, не обращайте внимания. Потом долго писал смс-ки, развернувшись лицом к высокому окну. За это время скабрёзные шутки и рассказы, сперва снизившись до шороха, вновь зазвучали полногласно, сопровождаясь то хохотом, то резкими, перебивающими криками. Незаметно учитель подошёл к самой большой, мальчишеской группе и, наклонившись, приобняв пару детей за плечи, о чём-то зашептал в их круг. Другие тотчас слетелись к ним, стараясь с ходу поймать смысл разговора, хотя девочкам было обидно, они стояли позади и почти ничего не слышали. В эту же минуту в классе появился ещё один человек, и все, кто был здесь, уставились на него в волнующем ожидании.

Это был среднего росту сухощавый мужичок в поизношенном сером пиджаке и того же цвета берете, виду не праздничного, но опрятный и крепкий. Многие его знали, он работал в живом уголке при школе, хотя никто не сказал бы, как его имя. Но он зашёл в класс, ведя на поводке нечто, что и было предметом такого воодушевлённого интереса у детей.

И это значило, что в это майское утро на поводке в класс был введён приус. Приус был довольно крупное существо, размером со среднюю свинью или, если угодно, капибару, но по виду напоминавшее скорее большую лысую землеройку с укороченной мордой или голого землекопа. Мелкие глаза приуса жмурились, а розовато-белое тело в складочках подрагивало от внимания окружающих. Мужчина, ведший его, прошёл между партами к задним столам и устало сел на низкий стульчик, держа его на поводке перед собой. Дети тесно окружили его и приуса со всех сторон.

Дети любят приуса. Кое-кто уже не первый раз его здесь видел. Это самое добродушное создание из всех, что когда-либо существовали на земле. Приусу нравится решительно всё. Его можно гладить, чесать или пинать, можно бить его палкой и обливать кипятком, можно унижать и морить его голодом или, напротив, закормить как на убой — приус всё стерпит и будет счастлив. Можно отрезать ему хвост, а хвост у него маленький, но он лишь вильнёт обрубком и поглядит с благодарностью. Приус не может и не хочет сопротивляться ничему,

но принимает всё с искренней животной радостью. Смерть причинила бы ему высшее блаженство. Увы, сам по себе, приус бессмертен.

Дети, сгрудившись вокруг него, тянут руки и гладят его по бесшёрстной суховатой коже. Учитель, стоя чуть позади, советует: «Ущипните его. Дайте ему по голове!» Но прежде чем самые решительные приступят к этому благому занятию, вперёд протискивается какая-то мелкая девчонка с ещё детским бантиком на затылке и начинает изо всех сил барабанить приуса кулачками по плоской морде. Тот с упоением протягивает шею книзу, подставляя голову под удары. «Можно буцнуть?» — осторожно спрашивает мальчик постарше. Учитель с улыбкой пожимает плечом, и мальчик несильно бьёт зверушку ногой в живот. Приус поворачивается и подставляет другой бок, отодвинув в сторону лапку для удобства, и его бьют уже сильнее. Восторг охватывает детей от знакомства с удивительными тайнами живой природы.

Спустя немного времени учитель отводит детей от увлечённого пинания приуса и, когда мужчина в пиджаке откроет дверцу в лабораторном столе, помогает ему затолкать животное вглубь ящика. «Внутри приуса живут логгоры, — говорит он детям. — Они делают его покладистым». Но поверить в то, что внутри приуса действительно есть ещё что-то, непросто. Ведь что мешает вспороть ему брюхо и посмотреть? Он будет на седьмом небе от счастья, и резник также испытает высокую радость исследователя. Поэтому, как объясняет учитель, приуса нужно поместить в тёмное и тесное место и оставить наедине с собой. В одиночестве приус ничто. Поэтому тогда логгоры выходят из его тела, и тут-то их только и лови.

С большим трудом они заталкивают толстоватое тело приуса в ящик стола и плотно закрывают дверцы наружу. Наступают самые напряжённые минуты: все молчат, слыша лишь лёгкое шебуршание внутри стола, где ворочается замкнутая зверушка. Приус не выносит одиночества, стесненья и темноты. Логгоры выходят из него, и он становится совершенно обычным животным, теряет всю свою радушную податливость, кричит и рвётся, в таковом состоянии представляя не слишком большой интерес для исследователя. Но стоит только его извлечь, осветить или стукнуть, как логгоры возвращаются в его тело, привнося всю ту безмятежность, за которую он так любим детворой. Наконец, из стола раздаётся громкий стук, что-то сильно шваркается в дверцы и начинает грозно сопеть и рычать. Учитель довольно улыбается испугавшимся от неожиданности детям, еле удерживая дверь руками. «Сейчас я покажу вам логгора», — говорит он.

Выждав время, когда взбесившийся приус внутри ненадолго замер, мужичок в пиджаке ловко открывает дверцы ящика, поддав животное

ногой в рыло, а учитель, перегнувшись сверху, быстро хватает руками с его тела что-то мимолётное, словно бы мгновенно мелькнувшие тени на бледной тушке приуса. Самые внимательные из детей успевают заметить, как эти тени, скользнув по спине и бокам, стремительно забиваются тушке в рот, сзади под хвост, в глаза и в уши, и только что утробно рычавший зверь вновь становится прежним приусом, тихой любимой живой игрушкой, согласной разом на всё, млеющей от мысли, что её ломают.

Между тем, учитель, опершись о стол, разглядывает свою добычу. Он сообщает детям, что это логгоры, и показывает их из рук. Их сразу три. Логгоры представляют собой мелких серых козявок, не больше фаланги мизинца, вертлявых и цепких. У них сплошное тело, лишённое головы и каких-либо отверстий или частей вообще, кроме двух маленьких лапок, по-видимому, сзади, с крохотными острыми коготками. Их трудно удержать в руке, но можно прижать пальцем, если не бояться их отчаянного царапания. Дети с живым интересом разглядывают их, тычут их пальцами, тотчас отдёргиваясь от шевелящейся козявки. Кто-то из них предлагает поселить их в банку, но учитель смеётся. Они, по его словам, не проживут более получаса, их можно лишь убить или вернуть обратно. Это печалит детей.

«Смысл существования логгоров, — говорит учитель, демонстрируя их на ладони, — в том, чтобы ненавидеть. Их ненависть абсолютна, она не знает никаких пределов, она не способна остановиться ни перед чем. Логгоры ненавидят всё существующее так, что, имей они хоть небольшую возможность, они тут же это уничтожили бы. Но всё несуществующее они ненавидят ещё больше. Трудно вообразить себе мир, в котором живут логгоры, почти невозможно. Если это безумие, то лишь такое, которое возникает внутри самого чёрного безумия и превосходит его. Если у каждого из логгоров есть своё "я", то он, возможно, и не догадается о существовании себе подобных, ведь даже других логгоров он будет ненавидеть с тем же равным и абсолютным усилием. И если бы кто-то внушил логгорам идею бога, то они, конечно, решили бы, что его нет, но со всею ненавистью отказались бы верить в его несуществование». Однако же, по заверениям учителя, логгоры таковы лишь в теле приуса. Покинув его, они теряются, чувствуют уязвимость, становятся обыкновенной слепой козявкой, ищущей, куда бы убраться, и, в конце концов, умирают. Хорошо ли это? Дети не знают ответа на этот вопрос, они печальны.

«Давайте отпустим их домой», — говорит учитель. Он сажает логгоров на спину приуса, и те, повертевшись мгновенье, исчезают, как тени, в его анусе.

Я думаю, глядя вслед учителю, который вместе с пиджачным мужичком уводит приуса из аудитории, что тайное знание о совершенной ненависти логгоров, переданное учителем, не совсем полное. Может быть, учитель соврал? Нет, зачем же, хотя я не стал бы совсем отвергать такую возможность. Но это, конечно, самое узкое место его теории. Вот приус, его можно потрогать, ему можно отрезать хвост. И здесь всё как на ладони, и его всепокорность, и щенячья радость всему, что с ним происходит. Но логгоров мы видим только такими, которые представляют лишь гербарный интерес, а их жизнь внутри приуса темна и безвестна. Я понимаю, что учитель, вероятно, намекал, что приус таков, как есть, только потому, что таковы логгоры внутри него. Но, простите, этому нужны хоть какие-то доказательства. Поэтому вопрос этот я, пожалуй, назову неизученным.

Хуй

Лёгкие летние каблучки девушек торопливо цокали по ещё не разогретому с утра асфальту. Высоко над ними, в чёрно-зелёной кроне деревьев распевали день страшные птицы востока. С тех пор как священной волею народа был сожжён дотла сталинских размеров супермаркет, оттяпавший некогда треть парка, в их голоса вплелось злое превосходство высшей расы, наблюдающей гибель худших себя.

Мастер Хуй вёл занятия во дворе интерната, ограждённом посадкой кустов от дороги напротив парка. Место для своей школы он доблестно отстоял, в одиночку изгнав из здания районный Комитет по Упору в Отечество, состоявший из розоволицых кудрявых пенсионеров, нашедших себя в политическом радикализме и непримиримой борьбе с нечистью. Как расово неполноценный, мастер Хуй был нечистью по умолчанию, но эта его открытая позиция и усыпила в конце концов бдительность борцов, чей вековой опыт касался, прежде всего, скрытых и подразумеваемых врагов народа, таящихся повсюду. Поэтому, когда мастер Хуй явился на заседание Комитета с гвоздодёром наперевес и сообщил, что будет убеждать каждого персонально по спискам коммуночиствода, патриоты яростно разошлись по домам, оставив ныне пустой интернат вооружённой вражине.

Грозы прошли двумя днями ранее, и утренняя росная свежесть острыми коготками царапала кожу. Мальчиков сегодня было ровно двенадцать, по числу несчастливых месяцев в году, все возрастом шестого-седьмого класса, и все они отчаянно мёрзли под открытым небом. И

для начала мастер Хуй заставил их четырежды оббежать здание интерната по асфальтовой дорожке. Белоглазый и белокурый Данечка, как всегда, прибежал последним, ибо четырежды останавливался у подсобного флигеля понюхать, как пахнет гудрон. Мастер Хуй картинно накричал на него и заставил девять раз отжаться, пока остальные переводили дыхание. В это время в стену интерната, между окнами второго и третьего этажей, выстрелили из гранатомёта, кажется, из соседнего двора у пятиэтажки.

— Учитель Хуй, — произнёс, когда шум от взрыва, разбитых стёкол и падающих обломков кирпичей утих, долговязый Володя. Но учитель перебил его, пригрозив кулаком, и велел в назидание приседать девять раз.

Больше всего на свете мастер Хуй любил пять вещей. Во-первых, отражение высоких перистых облаков на неподвижной глади воды. Во-вторых, печальное пение лягушек в вечернем парке у пруда, ранним летом. В-третьих, старинные советские книги на восхищавшем его, хоть и не доступном пониманию, молдавском языке. В-четвёртых, запах гудрона. В-пятых же, абсолютное послушание сущего своему пределу, в котором, по его мнению, утверждена была воля Неба и Земли. Люди, не умеющие наслаждаться этими пятью вещами и посредством их постигать сокровенный путь, полагал он, были не более чем плодом воображения галлюцинирующей черепахи, лишённой, ко всему прочему, предвечных письмён на своём панцире.

— Лечь-встать, — скомандовал он, и мальчики послушно прыгнули на землю.

Есть только одно, думал он, глядя поверх деревьев в ледяное небо, что движется внутри этих радужных теней и сплетает голоса мира в единый выстрел, подобно косам маленьких девочек, роющих длинные подземные норы в усталом и ненасытном желании выбраться отсюда наружу, на поверхность нерождённой земли. Есть великий шар дерьма, пребывающий нераздельно и неслиянно в совершенной простоте несуществующего, который лучится всей тьмою вещей мира, узнанных и принятых нами потому лишь, что они суть метафоры его экскремированного бытия. Когда мы хотим назвать владычицу западных земель, с должной учтивостью мы произносим имена лазоревых птиц. Когда мы говорим об императоре, мы называем его: высокий, обладающий волей Неба, владетельный колесничий, солнце, дорогой товарищ. Все эти слова, равно как и вещи, ими обозначенные, подобно тошнотворно-сладкому запаху, тянутся к великому самосущему шару, который вращается, как не имеющий имени, в бездне собственных уподоблений. Правильнее было бы называть его комком или даже кучей. Но вряд ли это уточнение прояснит вопрос, почему, коль уж все воли мира есть движение единой зловонной воли, так

редко среди существ, отягчённых жизнью, встречаются те, кто может позволить себе совершить два противонаправленных действия как единое. Когда им сказано было «лечь-встать», они что сделали? Они бросились лицом на грязный асфальт, раня ладони о камни и микроскопические осколки стекла, сгибаясь в коленках, выпускали вязкую слюну на землю, кое-кто даже лизнул пыль кончиком языка, и это послужит ему уроком. Затем они нестройно поднялись, тяжело дыша, растирали ладони и локти, подтягивали съехавшую набок резинку штанов и были в полной уверенности, что с заданием справились. Откуда такая нелепая убеждённость, ведь приказано было не это.

По дороге, лязгая всем нутром, проехал грузовик с десятком бомжевато одетых, загоревших до бурой красноты солдат, не то сказать, ополченцев. Вслед за тем, далеко и нестрашно, как в соседней жизни, протрещали короткие автоматные очереди.

— Раненная обезьяна спрыгивает с дерева перед разъярённым вепрем, — задумчиво, вполголоса произнёс мастер Хуй.

Мальчики, разогретые даже больше нужного, стоявшие наготове, тотчас бросились выполнять упражнение. Если бы у дорогого учителя существовало так называемое чувство юмора, он легко посмеялся бы ужимкам детей в их старании выполнить его приказ. Воистину, они куда больше напоминали лягушек, нежели обезьян, хотя с первыми и состояли в сравнительно отдалённом родстве, если следовать положениям современной им науки. Мастер же Хуй, чей далёкий предок когда-то, увидев Лушань, проникся таким сочувствием созерцаемого, что древние горы навсегда приняли его за своего, к юмору относился враждебно, предпочтя ему поэзию и нефтепродукты. Трудно было бы извинить его, понимая, с какой брезгливостью к несовершенству варваров смотрит он на запутывающихся в четырёх конечностях учеников, пытавшихся изобразить на асфальте страдание и отвагу зверя, и не находит это забавным.

— Четырнадцать взлетающих куропаток отразились в зрачках притаившегося тигра, — сухо и монотонно проговорил он поверх ползающей в пыли кучи и отвернулся, не дожидаясь, когда пара дюжин рук подпрыгнет ввысь, имитируя должное старание и покорность.

Всё это бесполезно. Дети ни на что не годны. Идеально выточенный из камня шар, пусть он будет размером с дракона, сдвинется от одного дуновения девушки, перепутавшей его со свечой, которую хотела задуть. Комар, обученный жужжанию на одной возвышенной ноте, прихлопни его хоть сотней ладоней, не бросит своего дела и после смерти, напоминая убийце о значительном превосходстве музыки над насилием. Не то человек, составленный из всего, что не пошло

впрок ни камню, ни комару, как бы в напоминание, что у всякой вероятности есть ужасный и нелепый предел.

В парке напротив интерната громыхало. Туда, на поляну между деревьями и дорогой, установили гаубицу, и несколько человек у микроавтобуса возились с тяжёлым ящиком с боеприпасами. Мужчина, стоя поодаль, громко выяснял по рации координаты и тут же отрывисто, через плечо передавал их наводчику. Рядом припарковался старый грузовой зил, у которого зачем-то были выкручены передние фары и морда зияла провалами глазниц, как бычий череп. Гаубица ярко лязгнула раз, затем ещё, ещё и ещё по прицеленной далеко нечисти. Вслед за тем люди ловко подцепили её тросом к грузовику и, сев по спешной команде в микроавтобус, умчались вдаль запылённой уже улицей.

Когда отъехала и гаубица, тягомая рычащим грузовиком, окрестности парка заволокло тучной, бездыханной, прозрачной тишиной, подымавшейся росою вверх из-под ног, словно бы её вываживало пустое степное небо, вступившее в свою силу. За долгие годы жизни среди варваров мастер Хуй выучил эту тишину наизусть. Если в полдень идти по оживлённой улице, толкаясь среди призрачных, как и предписано полуденному мареву, прохожих, и, остановившись вдруг, свернуть в неприметный проулок между домами или встать спиной к улице, глядя в нависшую грубой влажной серостью арку, тишина эта тотчас предъявит себя неизменной, словно давая понять, что она всегда рядом, настороже, всегда готова сменить собой всё, что ты сочтёшь существующим. Однажды ровно в полдень она осела между витринами большого магазина, торговавшего электронным хламом, и люди перестали узнавать друг друга, суетливо выходили прочь с чувством возмущённого недоумения по поводу того, что их сюда завело.

Но сегодня она означала другое, и мастер Хуй хорошо понимал, что именно. Сощуренным расовым глазом он обошёл верхушки деревьев, пыльные крыши домов, пустые окна, за которыми, он знал, притаилась робкая жизнь, боявшаяся выдать себя в окне, блестящую под взошедшим повыше солнцем дорогу. Дети стояли перед ним, перепачканные грязью и по́том, и выжидательно смотрели ему в лицо. Двенадцать варварских голов, все разной масти и высоты над землёй, до самого маленького и самого испачканного, светлоглазого Данечки, похожего на эльфа, которым вытерли пол. Будь у мастера Хуя сердце, оно было бы тронуто видом такой покорности. Но у него был только долг.

— Пора, — сказал он и быстро, направляя движеньем руки, повёл свой отряд прочь со двора интерната.

Он торопился. Нужно было вывести детей как можно дальше и оттуда уже отпустить их по домам. Возмущённо в нём подымалась волна злобы, круглый беспомощный шар, источавший вязкую ненависть — к жизни, которая привела его сюда, к этим людям, наконец-то обретшим своё подлинное предназначение в войне и уничтожении друг друга, к их неловким и бессмысленным детям, к птицам, сейчас уже замолчавшим и спрятавшимся поглубже в глубокую тишину. Не хватало только собрать всё это, слепить в один комок неразличимого безобразия и зашвырнуть его в самый дальний и затхлый угол вселенной, где его точно никто не станет искать.

Он отвёл детей уже довольно далеко, к углу дома с почтовым отделением, как в знаменитой тишине воздуха послышался короткий гудящий звук, и тот же час землю и всё бывшее на ней сотрясло мощным ударом — двор интерната, где они только что занимались, подбросило в воздух взрывом, затем ещё одним, затем взрывы накрыли прилегавший парк, растрясли и повалили деревья. Один снаряд угодил в само здание интерната и поднял вверх облако пыли и ветхого мусора. В ноздри ударило какой-то неловкой свежестью, как будто обстрел, как гроза, разрешил тягостную неподвижность этого утра.

Подталкивая детей в спину, мастер Хуй повёл их дальше от взрывов.

Остановились они под козырьком одного магазина, ожидаемо закрытого наглухо, напротив билборда с огромным лицом политического деятеля, вора и свиньи, разумеется, как и все они здесь. Бу́хать перестало, земля под ногами была тверда и спокойна, и в воздух вновь вернулись птичьи голоса, доносившиеся из кроны деревьев вдоль дороги.

Вдруг на тротуаре, вынырнув из-за угла, показался человек — в белой рубашке и смятых штанах, он шатался из стороны в сторону на заплетавшихся ногах и коротко взмахивал руками. Он был чудовищно пьян и держался только одним спиртовым духом. Поравнявшись с детьми, он осмотрел их с сообразительной гримасой, затем перевёл взгляд на мастера Хуя и нахмурился.

— Это ты стрелял, что ли? — с трудом повернув язык, сказал он. — Смотри мне…

Он постоял недолго, как будто что-то припоминая, потом опять неловко взмахнул рукой и сплюнул под ноги:

— Вот обезьяний народ, — и пошёл враскоряк дальше, в сторону разбомбленного парка.

Далеко гудела пожарная сирена, а по пустынной дороге перед ними проехал небольшой кортеж маршруток. Небо нельзя оскорбить своим существованием, думал мастер Хуй, будь ты хоть варвар, хоть собака, хоть неотёсанный камень. Небо ставит предел всему, не

считаясь с тем, каково оно, и благородство чисел перед ним значит не больше, чем низость привязанностей. Но через оскорблённость жизнью мы узнаём его вечный прилив в нашей собственной тьме, а значит, сам предел входит в нас и открывает себя в господстве и ужасе.

— Учитель Хуй, — сказал, перебив его мысли, Егор, рыжеватый мальчик с косым взглядом, — а что, занятий больше не будет?

Мастер Хуй посмотрел на него с ожесточением. Перед его воображением пронёсся разгромленный двор интерната с кусками асфальта, разбросанными по округе, шипящие лица местной мелкой чиновности, мышиные бумаги из полиции, озлобленность солдат и становившиеся обыденностью артиллерийские прилёты, тайные расстрелы во дворах и подвалах, голодные псы, однажды чуть не загрызшие его на пустыре, огромные, похожие на мешки с цементом тётки, обдающие его перекошенным взглядом, их сиплые мужья-уголовники, их ни на что не годные дети, сезонная грязь во дворах, научившаяся мыслить и действовать, косноязычие ума, рассеянность мнений, кривляния перед священным, округлое «ничего» в ответ, когда и ежу понятно, что уже всё и дальше некуда.

— Будет, — твёрдо сказал он. — Ещё больше будет.

Некоторое время он разводил детей по домам; последним с ним остался Данечка: его дом был по дороге к дому самого учителя. Вдвоём они шли вдоль сплошного строительного забора, за которым выясняла отношения какая-то компания.

— А вы давно к нам приехали? — спрашивал Данечка; он разговорился, оставшись наедине с учителем.

Тот помолчал.

— Я в прошлом году был в Турции, с отцом ездил. Там в гостинице, в общем, какая-то женщина отравилась. Нет, не едой отравилась, а сама. Какие-то таблетки, я даже не знаю. Её вынесли на носилках во двор, прямо в купальнике. И у неё всё тело блестело под солнцем, как будто оно искусственное. А вы видели искусственных людей?

— Видел, — пробормотал мастер Хуй.

— Классно. А где, здесь или, ну, там? Интересно, из чего их делают? Их же не обязательно надо из мяса делать, да? Можно, я думаю, заменить пластиком. Или, если из мяса, то, наверное, можно в каких-то лабораториях выращивать. Чтобы не убивать, там, животных всяких. Хотя лучше всё равно из пластика. У меня зимой котёнок умер. Я наступил на него случайно. Вот если бы он был из пластика, то и не умер бы. А у вас есть животные дома?

Болтовня Данечки убаюкивала на ходу, учитель перестал воспринимать её членораздельно и слушал просто, как птичий щебет. Они свернули в тенистую безлюдную аллейку, прошли по ней мимо водовозной машины, мимо закрытого киоска с пивом и чипсами. На углу длинного пятиэтажного дома они остановились.

— Здесь твой дом? — спросил мастер Хуй.

— Да, — сказал Данечка. — Вы мне сообщите обязательно, когда будет занятие. Всё равно сейчас лето, делать нечего. Отец, ну, он на войне, в общем. Я один дома остаюсь.

— Хорошо, — сказал мастер Хуй, и они распрощались.

Придя к себе, он долго мял руками виски и ходил по комнате. Наверное, так было надо, и сегодняшний день с его суматохой, страхом и отвращением — ещё один в длинной череде таких же и худших — приучал его к послушанию какой-то великой воле, превосходившей его понимание всецело. Он спрашивал себя, разве не это, не такую гибель он желал всему этому миру, который стал ему ненавистным приютом? Почему долг привязал его к нему? И мог ли бы он полюбить хотя бы этих детей, бывших сегодня в его совершенной власти?

Он распахнул окно внутрь птичьего двора. Уже было жарко. Он включил музыку через маленькую колоночку на столе — в песне пелось о далёкой горе Лушань, которая парила в жемчужном тумане высоко над землёй, не видя её и не обращая на неё внимания, но пребывая вечно в единственной собственной жизни. Он лёг на кровать и расслабился.

Вокруг возвышались холмы и взгорья, похожие на чьи-то неровные головы, дорога шла между ними, кривая и зажатая в теснины, а высоко над ней, впереди, бледным маревом светила вершина, окружённая туманом и небом. Он шёл к ней, постепенно ускоряя шаг, хотя ноги его были тяжелы, точно к ним привязали груз. Далеко на дороге показался высокий человек, весь сиявший. Он пошёл к нему и быстро приблизился. Белоглазый и белокурый, человек подошёл совсем близко и обнял учителя руками за плечи — всё вокруг внезапно потемнело и сделалось страшным. Мастер Хуй перепугался до смерти и, вынув из-за пояса невесть откуда взявшийся нож, двумя ударами выколол человеку глаза.

Он проснулся после короткого сна, взмокший и с сильно стучавшим сердцем. Голова была полна болезненным гулом, и он, сев на кровать, вновь стал растирать её. Нет — значит нет, думал он. Значит, здесь мой предел, и мне не следует искать чего-либо сверх этого. За окном слышались громкие детские голоса. Было четыре часа пополудни.

Слоня

По широкому тротуару, освещённая ярким днём буквально со всех сторон, в невероятно белом платье и с хитрой укладкой на голове шагает Слоня. Прохожие, как дым, пролетают мимо, не оставляя и тени на ней, автомобили мчатся по дороге рядом, налегке, как птичья быстрота. Слоня идёт, не нарушая порядка жизни, как водомерка скользит по воде своих отражений.

Из витрин на улицу глядят осторожные манекены: людей они не замечают, люди слишком быстры для них, но смутно ощущают какое-то движение в воздухе, тревожатся и приписывают свою тревогу чрезвычайно быстрой смене дня и ночи. Они и правда стремительны. Толпа у павильона метро растекается по ближайшим офисным зданиям, усеянным кондиционерами, напоминающими пучки омелы на деревьях. Её не беспокоит вид Слони, неспешно идущей по улице в слепящем наряде, и то, как поток людей рассеивается перед ней, расступается, не притронувшись, будто натолкнувшись на силовое поле вокруг неё. Видят ли они её? Бог весть.

Но те, кто видит, видят прежде всего сияющее лицо Слони, розовое, чуть округлённое, с нежным пушком. Видят её тёмные глаза в оправе длинных ресниц, смотрящие ровно и честно перед собой, отражая весь мир, открывшийся ей без остатка. Слоня улыбается едва заметной улыбкой. Грузчики суетятся у мебельного магазина, вынося к запылённой фуре скучный бежевый диван. Рядом с газетным киоском, у остановки автобуса курит стайка школьниц. Напротив, под аркой во двор с полураскрытой железной дверью крутится визгливая собачья свадьба. Здесь в асфальте тротуара расселась протяжённая выемка, блестящая посреди подсыхающей лужей. Слоня идёт по краю выемки, прочно касаясь ногами в чёрных ботиночках скудной этой земли.

Пешеходный поток загустевает по мере приближения к большому перекрёстку впереди. Оттуда слышен гудок полицейской сирены, сдавленный рокот толпы, стоящей в несколько рядов. За этим живым амфитеатром — тёмный фольксваген со смятой мордой и треснувшим стеклом, а перед ним в круглом красном пятне, похожее на полупустой мешок, чернеет мужское тело, как будто в победном жесте выбросив над головой сжатую в кулак руку. Издалека через проспект подъезжает, мерцая огоньком, скорая. Слоня входит в толпу, занявшую часть перехода-зебры, останавливается и внимательно осматривает сцену. Водитель фольксвагена прячет ладони под

мышками. Его нервно трясёт, пока он даёт показания грузному полицейскому, уткнувшемуся в планшет. Часть людей вместе с зелёным светом трогается и идёт по зебре, озираясь на аварию. Слоня выворачивается из толпы и движется с людьми дальше, не дожидаясь, когда подъедет скорая. Её каштановые волосы приподымает над плечами встречный ветер, она тепло улыбается, глядя поверх голов в лазурное небо.

Дорога её идёт мимо тенистого сада, огороженного кованой оградкой. Там от влажной земли, под кронами моросящих соком лип, подымается слабый шум какой-то старинной речи, множественной, спорящей, туманной. Как если бы те, кто говорит оттуда, знали на самом деле, что происходит сейчас на этой земле, и им было что сказать в ответ на это знание. Чёрно-белая кошка, выскользнув из-под оградки сада, бежит вровень с шагом Слони, задирая голову и хрипло мяукая. Потом отстаёт, останавливается и долго смотрит вослед, как невезучая. Слоня идёт, крепко ступая по недоумённой земле. Она улыбается.

Небо темнеет какой-то йодистого цвета тучей. Далеко, оттуда, где сад уже кончается, раздаются сухие автоматные очереди и пронзительные человеческие крики. По опустевшей улице, посреди проезжей части, из сходящейся книзу точки перспективы бежит женщина в разорванном платье, босиком и с каким-то свёртком в руке. На бегу, не замедлившись, она смотрит на Слоню с мучительным выражением лица, но, кажется, ничего не понимает и продолжает бежать прочь, скорее. Гул артиллерийских залпов сотрясает землю. Из-за корпуса почты на пустую улицу медленно выезжает бурого цвета танк, сминая асфальт под собой. Беспомощно и беспорядочно в него стреляют из окон здания напротив, пока он вертит башней и наконец стреляет в ответ, разнеся угол второго этажа. Слоня переходит улицу, где по правую руку от неё пустеет собранная из строительного хлама баррикада. Она проходит под домом, из которого всё ещё по инерции продолжается стрельба. Битое стекло, как карамель, хрустит под её твёрдыми подошвами.

Она улыбается, слегка прикрыв глаза навстречу свету. Солнце выкатилось в прореху распотрошённой тучи и заливает ей лицо так, что оно кажется полупрозрачным. Свет проникает внутрь человеческой вазы и не находит ничего, ничего.

Перейдя небольшую площадь с памятной стелой, Слоня идёт по затенённой улице среди жилых пятиэтажек. Молодые слётки грачей то и дело перебегают перед ней дорогу, прячась в траве, откуда громко и заинтересованно каркают ей в спину. Блики солнечных пятен, прорываясь через листву посаженных вдоль дороги деревьев, ритмично проносятся по её лицу, взрываются вспышками света на ослепительно белом платье. Шаг Слони уверен, лёгок и прочен даже здесь, на

неряшливом асфальте спального района. Кто-то в ближайшем доме резко хлопает рамой окна, из подворотни слышен детский суетливый спор. На той стороне улицы совсем юная ещё пара катит коляску с младенцем, но останавливается и в четыре вопросительных глаза смотрит в сторону Слони, как будто пытаясь разглядеть там что-то важное, но ускользающее от прямоты зрения.

Ветер, шелестящий листвой, вдруг стихает, а вместе с ним замолкает в грозную тишину весь район. Люди, их дети, их машины, птицы и животные в одночасье исчезают из напряжённого пространства, которого тон, запах и эхо тоже переменились и узнаваемы едва лишь. Из-под земли, еле слышимый, разносится низкий ровный гул, словно от удаляющегося поезда. В тишине, как в прозрачном кристалле, Слоня мерно впечатывает шаг своих ботиночек в землю. Вдруг проносится в воздухе резкий электрический треск, и в ту же секунду земля вздыбливается, дрожит, и короткие волны несколькими толчками проходят по ней, как по воде от брошенной гальки. Дома, шатнувшись в стороны, раскалываются и рушатся набок и внутрь себя, подымая клубы иссушающей ванильно-розово-серой пыли в воздух, деревья ходят ходуном, вдалеке, с чуть более высотного, чем здесь, до́ма съезжают три верхних этажа и с грохотом падают на дорогу. С неожиданным коротким свистом земля под проезжей частью расседается, и посреди дороги, уходя далеко вперёд, возникает глубокая расселина, раздвигающая обе части улицы друг от друга. Кое-где вспыхивают пожары. Люди, кому повезло и кто оказался более проворен, на шатких ногах выбегают из зданий, садятся на землю, держась руками за стволы деревьев или за ту же землю. Всё наполняется криком, гудками, скрипом, громыханием. Двухметровый кусок стены, отвалившись от фасада, падает на дорогу за спиной Слони, разворошив асфальт. Она идёт вперёд, как упрямое белое облако, счастливо избегая столкновения с обезумевшими от страха и горя людьми. Нежно-пунцовый цвет её лица, подсвеченный скромной улыбкой губ, сияет сквозь клубы пыли и дыма, нисколько не потеряв в своём чувственном оттенке и ясности. На высоте третьего этажа дома, запертая на полуобвалившемся балконе, истошно лает собака, но замолкает, едва только взгляд её касается того места в пространстве, сквозь которое проходит Слоня.

Сверху моросит дождь из почти прозрачной тучки на густом небе. Здесь дорога, взбежав на холм, понижается, оставляя позади разрушенный землетрясением квартал. Покинутый автобус с выбитыми стёклами стоит, припаркованный у тоже пустой остановки. За ним начинается длинный ряд гаражей, и дорога из асфальтированной переходит в грунтовую. По правую руку утопают в летней безудержной зелени хозяйства частного сектора, и запах домашнего шашлыка

органично сплетается с ароматом взбодрённых мгновенным грибным дождём садов. Кто-то за тридевять земель зовёт лужёным голосом какого-то Никиту. Он потерялся и вряд ли отыщет дорогу назад. Только жёлтые осы, как смертельные ягоды, повиснут перед глазами вопрошающего.

Слоня идёт, не сбавляя шагу, по мягкой, упругой земле. Впереди на большом белом камне кто-то оставил старый магнитофон, совмещённый с радио. Он играет вполголоса старинную румбу, сквозь которую прорываются волны шума и размеренный холодный стук пульсара. Никого нет рядом. Впрочем, дальше, из-под полога разросшейся сирени идут навстречу Слоне двое близнецов — молодых мужчин, худых и крупнокостных, с ярким синим цветом одинаковых глаз. Поравнявшись с ними на узкой дороге, Слоня проходит между них, не задев их ни взглядом, ни платьем, ни аурой тяжелеющего к вечеру воздуха. В тёмных глазах её отражается спуск дороги, обширное зелёное море снижающегося поселения, поля за ним, далёкие, игрушечные, блестящие осколками прудов и рекою, утопающая в золоте солнца кромка леса на горизонте.

Слоня улыбается. Через всё небо косым крестом, оставляя тяжёлый дымный след за собой, пролетают два метеорита и падают за горизонт, чтобы поднять два огромных облака взрыва. Ударная волна проносится над полями и зеленью садов, сорвав крыши с домов и ломая некрепкие деревья. Поднявшийся пылевой ураган бродит, как щуп, по всему посаду, поднимает вверх то мусор, то обломки разрушенного строения, то ветви деревьев вместе с их птицами. На полях внизу и за кромкой леса распускаются розочки пожаров. Солнце затянуто дымом и пеплом. Загадочные кракелюры пробегают по небу, складываясь в изощрённый узор, а вместе с тем со всех сторон разгорячённого пространства подымается звук каких-то невероятных труб, сотрясающих испуганное время. Земля понемногу сереет и теряет свои соки, превращаясь в подобие лунного реголита. Из одного угла мира в другой беспрестанно носится кто-то невидимый, оборудованный остро-чёрными крылами, секущими сиплый воздух. Зарождаясь в зените, тонкие колонны бледного пламени медленно опускаются на потемневшую в багровых пятнах землю. Едва отличимые от багровых теней существа, похожие на людей, из которых вынули середину, бродят бесцельно под сводами огня и сумрака. Из их ртов доносится сухая, как треск кузнечика, благодарность. Приходит ночь внутри ночи. Над окаймлённой мутным огнём тучей открывается, словно контур тела сквозь тонкое полотно, лицо слепого бога, искажённое болью и страхом незнания. И навстречу ему из умерщвлённой земли восстают холодные непрозрачные кристаллы какой-то ядовитой соли, высотой с человека, из которых звучит

непрерывным гулом хвала ему и осанна. В белом сияющем платье идёт между ними, не прикасаясь к ним, Слоня, полуприкрыв глаза над светлой улыбкой.

Твои каштановые волосы в их замысловатой укладке, словно нити нетварной жизни, останутся нетронутыми под самым яростным ветром нашей бескрайней лжи.

Твоё нежное лицо, в которое свет проникает, как в вазу, но не в силах найти ничего сущего, чтобы осветить его, сотрётся из нашей памяти быстрее, чем птичья точка в зените, и нам не надо будет гадать о его чертах.

Твои тёмные глаза суть драгоценные камни, не источающие ни блеска, ни разума, ни любви.

Твоё сияющее белизною платье пройдёт миллионы таких же миров, как наш, и ни пятна́, ни соринки не прилипнет к нему милосердно.

Твой твёрдый шаг по земле — залог того, что никто из нас и подобных нам не спросит, куда ты идёшь, и ни за что не догадается откуда.

Счастливого пути тебе, Слоня! Если можешь, не возвращайся, пожалуйста, никогда.

Диалог о тупых вещах

Ученик спросил:
— Существует ли порнография в искусстве извлечения звука из тупой вещи? И если нет, какова она и где ей положен предел? — спросил ученик.

Учител ответил:
— Вещь тупая *(res obtusa)* опознаётся не столько тупостью наших чувств, известной по нужде в некоей остроте, благодаря чему игла дикобраза ценима нами более перьев колибри, сколько сказочным недочётом *(malum)* в предначертанном нам пространстве, иступляющем всё, с чем приходит в сношение. Таким образом, тупость вещи исходно побеждена отнюдь не тупым умом наблюдателя, мнящего о себе чорт весть что, но равенством в превосходной тупости того, что делает их подобными, — ответил учител.

Ученик спросил:
— Стало быть, если ёж и енот равны друг другу по определённому кем набору признаков, то эти знаки предсуществующей тупости нельзя

охватить умом, ибо всякое отношение к ним неизбежно ввергает в пучину тупого тождества? Какова же мера того, в чем они различны? — спросил ученик.

Учител ответил:
— По неопределённому кем. Ведь острота знания пребывает в тупости лишь как её собственное имя, чрез которое она созерцает себя и ужасается себе. Отупляет же вещь не то, посредством чего она есть, но то, какой она не существует и не может существовать. Вот и в приведённом тупом примере оба благородных существа отмечены тупостью высочайшей пробы, но вовсе не так, как если бы эта метка лежала на них царственною печатью, но так, словно бы они сами были этой печатью на несуществующем. Так тупость становится собою в избытке *(usura)* и в погрешности *(culpa)*, — ответил учител.

Ученик спросил:
— Заострю вопрос. Действительно ли суждение, что вещь, будучи знаком и именем тупости, предсуществует тупоумию всякого наблюдателя, как если бы его, по счастью, не было? Или же тупое сущего, двоекратно отрицаясь себя, создаёт их как пару подобных в превосходном? — спросил ученик.

Учител ответил:
— Второе. Но для второго — первое. Ибо для того же и входит тупость в пределы вещей, чтобы вещь была. Но то, с чем она входит в отношение предсуществования, вещью вовсе не является. Обращая вещь к тому, что существует, тупое мира обращает её, прежде всего, к нижайшему, так что иные из нас, соотнесясь с вещью, даже находят в ней своего рода остроту, — ответил учител.

Ученик спросил:
— То есть, вещь тупа не потому, что она тупа как вещь, а тупою волей того, кто сделал её вещью? Кто же этот никто? — спросил ученик.

Учител ответил:
— Мы не можем рассматривать вещь в ряду так называемых других вещей. Но мы обязаны видеть вещь в динамике нарастающей и убывающей тупости этой и только этой вещи. Если вещь убывает в тупом чувстве нашей неполноты, то чувством этим отуплено не одно лишь существующее в нижайшем как вещь, но и само вещное вещи, пребывающее в тупом мира как возможность его остроты. Ведь полнота, существенной частью которой не является наше чувство, по принуждению к тому, чтобы быть понимаемой, тупа. В то время как мир, будучи тупостью своего исполнителя, хранит в себе принуждение *(coactus)*, не обладая им, но якобы исходя из него в виде намерения к тому, чтобы вещь отупела. Философ говорит так: вещь тупо течёт. Поэт называет вещь течением. Наблюдатель, которого, по счастью,

нет, испытал бы остроту вещей на себе. Но превосходней всех в развороте значащей тупости тот, кто, нисходя в понимании этих вещей к умноженной ими остроте мира, даёт им быть проблеском собственного несуществования посреди приливов и отливов их тупой тишины. Так появляется звук, где крепнет граница между вещью и её полнотой. Когда тупость этой вещи возрастает неизмеримо, он берёт плеть принуждения и назначает меру в тупом нашем чувстве, склонённом в мир и отвне его. Когда же тупость вещей убывает и вещь озаряет нижайшее солнцем его неполноты, он обращает нижайшее в предел всякой вещи, дабы тупое сущего не было побеждено неизмеримо превосходящей его остротой. Мы называем музыкой это, то, что в разделении позволяет обретать себе тупую цель и оставляет затем миру быть дальше, ибо незачем, — ответил учител.

Ученик спросил:
— Верно, я пьян, или я мёртв, или я сын киммерийца, зачатый из снега и воя диких зверей. Но если я возьму вещь и ничем извлеку из ней звук, дабы отупевшее впредь обратилось в полноту своей тупости, а затем продолжило незачем быть, кто назовет это музыкой, чтобы стать нами? — спросил ученик.

Учител ответил:
— Это тупо. Ибо незачем, пребывая в сущем как знак его всепобеждённой тупости, равно и убегая полноты вещей по принуждению к тому, чтобы тупо быть, становиться тем, что называет вещи, а не тем, что называется ими. Доблесть тупого ума — в восхождении к нижайшему. Всеотупляя вещь, мир кладёт себя в круг её полноты как ущерб избытком, тем самым воодушевляя сущее в мире к тому, чтобы чрез неполноту своих чувств совосстановиться с вещью, испытав остроту её несказанного предела. Ну а если так, то кто же внесёт становление в пределы, где вещи не принуждаемы к нарастанию и убыванию своих тупых свойств? Не быть, где есть, — вот доблесть тупых вещей, предваряющих музыку, — ответил учител.

Ученик спросил:
— Довольно, я всепознавший. Пусть я возьму вещь чрез остроту её несуществования или пусть я буду взят ею в полноте своего тупоумия, открытого для того, чтобы не становиться более собой, — не всё ли это равно тому, что оставляет мир дальше, чем он есть? Тогда ехидна или емуранчик, пребывая пусть и в нижайшем, превзойдут меня в необходимой близости ко всякой вещи. Но если над предваряющей всякую музыку тупой вещью, как в круге разделения, чья полнота надорвана сущим, мы обнаружим след принуждения, оставивший нас впредь того, чем всё сущее стало, то остротой этого наблюдения мы превзойдём и саму полноту вещей. Не так ли? — спросил ученик.

Учител ответил:
— Да, — ответил учител.

Copyleft — Олег Петров. Email: overbottom@gmail.com
Распространяется свободно.